

Леонид Николаевич Андреев

Шесть рассказов



Леонид Николаевич Андреев
Шесть рассказов

OCR: Максим Бычков

http://www.litres.ru/pages/biblio_book/?art=142110

Содержание

Петька на даче	4
Друг	19
Большой шлем	29
Ангелочек	44
I	44
II	50
III	59
Стена	64
I	64
II	67
III	70
IV	72
V	74
VI	77
Предстояла кража	79

Леонид Андреев

Шесть рассказов

Петька на даче

Осип Абрамович, парикмахер, поправил на груди посетителя грязную простынку, заткнул её пальцами за ворот и крикнул отрывисто и резко:

– Мальчик, воды!

Посетитель, рассматривавший в зеркало свою физиономию с тою обострённою внимательностью и интересом, какие являются только в парикмахерской, замечал, что у него на подбородке прибавился ещё один угорь, и с неудовольствием отводил глаза, попадавшие прямо на худую, маленькую ручонку, которая откуда-то со стороны протягивалась к подзеркальнику и ставила жестянку с горячей водой. Когда он поднимал глаза выше, то видел отражение парикмахера, странное и как будто косое, и подмечал быстрый и грозный взгляд, который тот бросал вниз на чью-то голову, и безмолвное движение его губ от неслышного, но выразительного шёпота. Если его брил не сам хозяин Осип Абрамович, а кто-нибудь из подмастерьев, Прокопий или Михаила, то шёпот становился громким и принимал форму неопределённой угрозы:

– Вот, погоди!

Это значило, что мальчик недостаточно быстро подал воду и его ждёт наказание. «Так их и следует», – думал посетитель, кривя голову набок и созерцая у самого своего носа большую потную руку, у которой три пальца были оттопырены, а два другие, липкие и пахучие, нежно прикасались к щеке и подбородку, пока туповатая бритва с неприятным скрипом снимала мыльную пену и жёсткую щетину бороды.

В этой парикмахерской, пропитанной скучным запахом дешёвых духов, полной надоедливых мух и грязи, посетитель был нетребовательный: швейцары, приказчики, иногда мелкие служащие или рабочие, часто аляповато-красивые, но подозрительные молодцы, с румяными щеками, тоненькими усиками и наглыми маслянистыми глазками. Невдалеке находился квартал, заполненный домами дешёвого разврата. Они господствовали над этою местностью и придавали ей особый характер чего-то грязного, беспорядочного и тревожного.

Мальчик, на которого чаще всего кричали, назывался Петькой и был самым маленьким из всех служащих в заведении. Другой мальчик, Николка, насчитывал от роду три года больше и скоро должен был перейти в подмастерья. Уже и теперь, когда в парикмахерскую заглядывал посетитель попроще, а подмастерья, в отсутствие хозяина, ленились работать, они посылали Николку стричь и смеялись, что ему приходится подниматься на цыпочки, чтобы видеть во-

лосатый затылок дюжего дворника. Иногда посетитель обижался за испорченные волосы и поднимал крик, тогда подмастерья кричали на Николку, но не всерьёз, а только для удовольствия оконченного простака. Но такие случаи бывали редко, и Николка важничал и держался, как большой: курил папиросы, сплёвывал через зубы, ругался скверными словами и даже хвастался Петьке, что пил водку, но, вероятно, врал. Вместе с подмастерьями он бегал на соседнюю улицу посмотреть крупную драку, и, когда возвращался оттуда, счастливый и смеющийся, Осип Абрамович давал ему две пощёчины: по одной на каждую щеку.

Петьке было десять лет; он не курил, не пил водки и не ругался, хотя знал очень много скверных слов, и во всех этих отношениях завидовал товарищу. Когда не было посетителей и Прокопий, проводивший где-то бессонные ночи и днём спотыкавшийся от желания спать, приваливался в тёмном углу за перегородкой, а Михаила читал «Московский листок» и среди описания краж и грабежей искал знакомого имени кого-нибудь из обычных посетителей, – Петька и Николка беседовали. Последний всегда становился добрее, оставаясь вдвоём, и объяснял «мальчику», что значит стричь под польку, бобриком или с пробором.

Иногда они садились на окно, рядом с восковым бюстом женщины, у которой были розовые щеки, стеклянные удивлённые глаза и редкие прямые ресницы, – и смотрели на бульвар, где жизнь начиналась с раннего утра. Деревья буль-

вара, серые от пыли, неподвижно млели под горячим, безжалостным солнцем и давали такую же серую, не охлаждающую тень. На всех скамейках сидели мужчины и женщины, грязно и странно одетые, без платков и шапок, как будто они тут и жили и у них не было другого дома. Были лица равнодушные, злые или распущенные, но на всех на них лежала печать крайнего утомления и пренебрежения к окружающему. Часто чья-нибудь лохматая голова бессильно клонилась на плечо, и тело невольно искало простора для сна, как у третьеклассного пассажира, проехавшего тысячи вёрст без отдыха, но лечь было негде. По дорожкам расхаживал с палкой ярко-синий сторож и смотрел, чтобы кто-нибудь не развалился на скамейке или не бросился на траву, порыжевшую от солнца, но такую мягкую, такую прохладную. Женщины, всегда одетые более чисто, даже с намёком на моду, были все как будто на одно лицо и одного возраста, хотя иногда попадались совсем старые или молоденькие, почти дети. Все они говорили хриплыми, резкими голосами, бранились, обнимали мужчин так просто, как будто были на бульваре совсем одни, иногда тут же пили водку и закусывали. Случалось, пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину; она падала, поднималась и снова падала; но никто не вступался за неё. Зубы весело скалились, лица становились осмысленнее и живее, около дерущихся собиралась толпа; но когда приближался ярко-синий сторож, все лениво разбрелось по своим местам. И только побитая женщина плакала и бес-

смысленно ругалась; её растрёпанные волосы волочились по песку, а полуобнажённое тело, грязное и жёлтое при дневном свете, цинично и жалко выставлялось наружу. Её усаживали на дно извозчичьей пролётки и везли, и свесившаяся голова её болталась, как у мёртвой.

Николка знал по именам многих женщин и мужчин, рассказывал о них Петьке грязные истории и смеялся, скаля острые зубы. А Петька изумлялся тому, какой он умный и бесстрашный, и думал, что когда-нибудь и он будет такой же. Но пока ему хотелось бы куда-нибудь в другое место... Очень хотелось бы.

Петькины дни тянулись удивительно однообразно и похоже один на другой, как два родные брата. И зимою и летом он видел все те же зеркала, из которых одно было с трещиной, а другое было кривое и потешное. На запятнанной стене висела одна и та же картина, изображавшая двух голых женщин на берегу моря, и только их розовые тела становились все пестрее от мушиных следов, да увеличивалась чёрная копоть над тем местом, где зимою чуть ли не весь день горела керосиновая лампа-«молния». И утром, и вечером, и весь божий день над Петькой висел один и тот же отрывистый крик: «Мальчик, воды», и он все подавал её, все подавал. Праздников не было. По воскресеньям, когда улицу переставали освещать окна магазинов и лавок, парикмахерская до поздней ночи бросала на мостовую яркий сноп света, и прохожий видел маленькую, худую фигурку, сгорбившуюся

в углу на своём стуле и погруженную не то в думы, не то в тяжёлую дремоту. Петька спал много, но ему почему-то все хотелось спать и часто казалось, что все вокруг него не правда, а длинный неприятный сон. Он часто разливал воду или не слышал резкого крика: «Мальчик, воды», и все худел, а на стриженной голове у него пошли нехорошие струпья. Даже нетребовательные посетители с брезгливостью смотрели на этого худенького, веснушчатого мальчика, у которого глаза всегда сонные, рот полуоткрытый и грязные-прегрязные руки и шея. Около глаз и под носом у него прорезались тоненькие морщинки, точно проведённые острой иглой, и делали его похожим на состарившегося карлика.

Петька не знал, скучно ему или весело, но ему хотелось в другое место, о котором он не мог ничего сказать, где оно и какое оно. Когда его навещала мать, кухарка Надежда, он лениво ел принесённые сласти, не жаловался и только просил взять его отсюда. Но затем он забывал о своей просьбе, равнодушно прощался с матерью и не спрашивал, когда она придёт опять. А Надежда с горем думала, что у неё один сын – и тот дурачок.

Много ли, мало ли жил Петька таким образом, он не знал. Но вот однажды в обед приехала мать, поговорила с Осипом Абрамовичем и сказала, что его, Петьку, отпускают на дачу, в Царицыно, где живут её господа. Сперва Петька не понял, потом лицо его покрылось тонкими морщинками от тихого смеха, и он начал торопить Надежду. Той нужно было, ради

пристойности, поговорить с Осипом Абрамовичем о здоровье его жены, а Петька тихонько толкал её к двери и дёргал за руку. Он не знал, что такое дача, но полагал, что она есть то самое место, куда он так стремился. И он эгоистично позабыл о Николке, который, заложив руки в карманы, стоял тут же и старался с обычною дерзостью смотреть на Надежду. Но в глазах его вместо дерзости светилась глубокая тоска: у него совсем не было матери, и он в этот момент был бы не прочь даже от такой, как эта толстая Надежда. Дело в том, что и он никогда не был на даче.

Вокзал с его разноголосую сутолокою, грохотом приходящих поездов, свистками паровозов, то густыми и сердитыми, как голос Осипа Абрамовича, то визгливыми и тоненькими, как голос его больной жены, торопливыми пассажирами, которые все идут и идут, точно им и конца нету, – впервые предстал перед оторопелыми глазами Петьки и наполнил его чувством возбуждённости и нетерпения. Вместе с матерью он боялся опоздать, хотя до отхода дачного поезда оставалось добрых полчаса; а когда они сели в вагон и поехали, Петька прилип к окну, и только стриженная голова его вертелась на тонкой шее, как на металлическом стержне.

Он родился и вырос в городе, в поле был в первый раз в своей жизни, и все здесь для него было поразительно ново и странно: и то, что можно было видеть так далеко, что лес кажется травкой, и небо, бывшее в этом новом мире удивительно ясным и широким, точно с крыши смотришь. Петь-

ка видел его с своей стороны, а когда оборачивался к матери, это же небо голубело в противоположном окне, и по нему плыли, как ангелочки, беленькие радостные облачка. Петька то вертелся у своего окна, то перебегал на другую сторону вагона, с доверчивостью кладя плохо отмытую ручонку на плечи и колени незнакомых пассажиров, отвечавших ему улыбками. По какой-то господин, читавший газету и все время зевавший, то ли от чрезмерной усталости, то ли от скуки, раза два неприязненно покосился на мальчика, и Надежда поспешила извиниться:

– Впервой по чугунке едет – интересуется...

– Угу!.. – пробурчал господин и уткнулся в газету.

Надежде очень хотелось рассказать ему, что Петька уже три года живёт у парикмахера и тот обещал поставить его на ноги, и это будет очень хорошо, потому что женщина она одинокая и слабая и другой поддержки на случай болезни или старости у неё нет. Но лицо у господина было злое, и Надежда только подумала все это про себя.

Направо от пути раскинулась кочковатая равнина, темно-зелёная от постоянной сырости, и на краю её были брошены серенькие домики, похожие на игрушечные, и на высокой зеленой горе, внизу которой блистала серебристая полоска, стояла такая же игрушечная белая церковь. Когда поезд со звонким металлическим лязгом, внезапно усилившимся, взлетел на мост и точно повис в воздухе над зеркальной гладью реки, Петька даже вздрогнул от испуга и неожиданности

и отшатнулся от окна, но сейчас же вернулся к нему, боясь потерять малейшую подробность пути. Глаза Петькины давно уже перестали казаться сонными, и морщинки пропали. Как будто по этому лицу кто-нибудь провёл горячим утюгом, разгладил морщинки и сделал его белым и блестящим.

В первые два дня Петькина пребывания на даче богатство и сила новых впечатлений, лившихся на него и сверху, и снизу, смяли его маленькую и робкую душонку. В противоположность дикарям минувших веков, терявшимся при переходе из пустыни в город, этот современный дикарь, выхваченный из каменных объятий городских громад, чувствовал себя слабым и беспомощным перед лицом природы. Все здесь было для него живым, чувствующим и имеющим волю. Он боялся леса, который покойно шумел над его головой и был тёмный, задумчивый и такой же страшный в своей бесконечности; полянки, светлые, зеленые, весёлые, точно поющие всеми своими яркими цветами, он любил и хотел бы приласкать их, как сестёр, а темно-синее небо звало его к себе и смеялось, как мать. Петька волновался, вздрагивал и бледнел, улыбался чему-то и степенно, как старик, гулял по опушке и лесистому берегу пруда. Тут он, утомлённый, задыхающийся, разваливался на густой сыроватой траве и утопал в ней; только его маленький веснушчатый носик поднимался над зеленой поверхностью. В первые дни он часто Извращался к матери, тёрся возле неё, и когда барин спрашивал его, хорошо ли на даче, – конфузливо улыбался и отве-

чал:

– Хорошо!..

И потом снова шёл к грозному лесу и тихой воде и будто допрашивал их о чем-то.

Но прошло ещё два дня, и Петька вступил в полное соглашение с природой. Это произошло при содействии гимназиста Мити из Старого Царицына. У гимназиста Мити лицо было смугло-жёлтым, как вагон второго класса, волосы на макушке стояли торчком и были совсем белые так выжгло их солнце. Он ловил в пруде рыбу, когда Петька увидел его, бесцеремонно вступил с ним в беседу и удивительно скоро сошёлся. Он дал Петьке подержать одну. удочку и потом повёл его куда-то далеко купаться. Петька очень боялся идти в воду, но когда вошёл, то не хотел вылезать из неё и делал вид, что плавает: поднимал нос и брови кверху, захлёбывался и бил по воде руками, поднимая брызги. В эти минуты он был очень похож на щенка, впервые попавшего в воду. Когда Петька оделся, то был синий от холода, как мертвец, и, разговаривая, ляскал зубами. По предложению того же Мити, неистощимого на выдумки, они исследовали развалины дворца; лазали на заросшую деревьями крышу и бродили среди разрушенных стен громадного здания. Там было очень хорошо: всюду навалены груды камней, на которые с трудом можно взобраться, и промеж них растёт молодая рябина и берёзки, тишина стоит мёртвая, и чудится, что вот-вот выскочит кто-нибудь из-за угла или в растрескавшейся

амбразуре окна покажется страшная-престрашная рожа. Постепенно Петька почувствовал себя на даче как дома и совсем забыл, что на свете существует Осип Абрамович и парикмахерская.

– Смотри-ка, растолстел как! Чистый купец! – радовалась Надежда, сама толстая и красная от кухонного жара, как медный самовар. Она приписывала это тому, что много его кормит. Но Петька ел совсем мало, не потому, чтобы ему не хотелось есть, а некогда было возиться: если бы можно было не жевать, глотать сразу, а то нужно жевать, а в промежутки болтать ногами, так как Надежда ест дьявольски медленно, обглаживает кости, утирается передником и разговаривает о пустяках. А у него дела было по горло: нужно пять раз выкупаться, вырезать в орешнике удочку, накопать червей – на все это требуется время. Теперь Петька бегал босой, и это в тысячу раз приятнее, чем в сапогах с толстыми подошвами: шершавая земля так ласково то жжёт, то холодит ногу. Свою подержанную гимназическую куртку, в которой он казался солидным мастером парикмахерского цеха, он также снял и изумительно помолодел. Надевал он её только вечерами, когда ходил на плотину смотреть, как катаются на лодках господа: нарядные, весёлые, они со смехом садятся в качающуюся лодку, и та медленно рассекает зеркальную воду, а отражённые деревья колеблются, точно по ним пробежал ветерок.

В исходе недели барин привёз из города письмо, адресо-

ванное «куфарке Надежде», и когда прочёл его адресату, адресат заплакал и размазал по всему лицу сажу, которая была на переднике. По отрывочным словам, сопровождавшим эту операцию, можно было понять, что речь идёт о Петьке. Это было уже ввечеру. Петька на заднем дворе играл сам с собою в «классики» и надувал щеки, потому что так прыгать было значительно легче. Гимназист Митя научил этому глупому, но интересному занятию, и теперь Петька, как истый.. спортсмен, совершенствовался в одиночку. Вышел барин и, положив руку на плечо, сказал:

– Что, брат, ехать надо!

Петька конфузливо улыбался и молчал.

«Вот чудак-то!» – подумал барин.

– Ехать, братец, надо.

Петька улыбался. Подошла Надежда и со слезами подтвердила:

– Надобно ехать, сынок!

– Куда? – удивился Петька.

Про город он забыл, а другое место, куда ему всегда хотелось уйти, – уже найдено.

– К хозяину Осипу Абрамовичу.

Петька продолжал не понимать, хотя дело было ясно, как божий день. Но во рту у него пересохло и язык двигался с трудом, когда он спросил:

– А как же завтра рыбу ловить? Удочка – вот она...

– Что поделаешь!.. Требуется. Прокопий, говорит, заболел, в

больницу свезли. Народу, говорит, нету. Ты не плачь: гляди, опять отпустит, – он добрый, Осип Абрамович.

Но Петька и не думал плакать и все не понимал. С одной стороны был факт

– удочка, с другой – призрак – Осип Абрамович. Но постепенно мысли Петькины стали проясняться, и произошло странное перемещение: фактом стал Осип Абрамович, а удочка, ещё не успевшая высохнуть, превратилась в призрак. И тогда Петька удивил мать, расстроил барыню и барина и удивился бы сам, если был бы способен к самоанализу: он не просто заплакал, как плачут городские дети, худые и истощённые, – он закричал громче самого горластого мужика и начал кататься по земле, как те пьяные женщины на бульваре. Худая ручонка его сжималась в кулак и била по руке матери, по земле, по чем попало, чувствуя боль от острых камешков и песчинок, но как будто стараясь ещё усилить её.

Своевременно Петька успокоился, и барин говорил барыне, которая стояла перед зеркалом и вкалывала в волосы белую розу:

– Вот видишь, перестал – детское горе непродолжительно.

– Но мне все-таки очень жаль этого бедного мальчика.

– Правда, они живут в ужасных условиях, но есть люди, которым живётся и хуже. Ты готова?

И они пошли в сад Дипмана, где в этот вечер были назначены танцы и уже играла военная музыка.

На другой день, с семичасовым утренним поездом, Петь-

ка уже ехал в Москву. Опять перед ним мелькали зеленые поля, седые от ночной росы, но только убегали не в ту сторону, что раньше, а в противоположную. Подержанная гимназическая курточка облекала его худенькое тело, из-за ворота её выставлялся кончик белого бумажного воротничка. Петька не вертелся и почти не смотрел в окно, а сидел такой тихонький и скромный, и ручки его были благонаравно сложены на коленях. Глаза были сонливы и апатичны, тонкие морщинки, как у старого человека, ютились около глаз и под носом. Вот замелькали у окна столбы и стропила платформы, и поезд остановился.

Толкаясь среди торопившихся пассажиров, они вышли на грохочущую улицу, и большой жадный город равнодушно поглотил свою маленькую жертву.

– Ты удочку спрячь! – сказал Петька, когда мать довела его до порога парикмахерской.

– Спрячу, сынок, спрячу! Может, ещё приедешь.

И снова в грязной и душной парикмахерской звучало отрывистое: «Мальчик, воды», и посетитель видел, как к подзеркальнику протягивалась маленькая грязная рука, и слышал неопределённо угрожающий шёпот: «Вот, погоди!» Это значило, что сонливый мальчик разлил воду или перепутал приказания. А по ночам, в том месте, где спали рядом Николка и Петька, звенел и волновался тихий голосок и рассказывал о даче, и говорил о том, чего не бывает, чего никто не видел никогда и не слышал. В наступавшем молчании слы-

шалось неровное дыхание детских грудей, и другой голос, не по-детски грубый и энергичный, произносил:

– Вот черти! Чтоб им повылазило!

– Кто черти?

– Да так... Все.

Мимо проезжал обоз и своим мощным громытием заглушал голоса мальчиков и тот отдалённый жалобный крик, который уже давно доносился с бульвара: там пьяный мужчина бил такую же пьяную женщину.

Друг

Когда поздний ночью он звонил у своих дверей, первым звуком после колокольчика был звонкий собачий лай, в котором слышались и боязнь чужого и радость, что это идёт свой. Потом доносилось шлёпанье калош и скрип снимаемого крючка.

Он входил и раздевался в темноте, чувствуя недалеко от себя молчаливую женскую фигуру. А колена его ласково царапали когти собаки, и горячий язык лизал застывшую руку.

– Ну, что? – спрашивал заспанный голос тоном официального участия.

– Ничего. Устал, – коротко отвечал Владимир Михайлович и шёл в свою комнату.

За ним, стуча когтями по вощёному полу, шла собака и вспрыгивала на кровать. Когда свет зажжённой лампы наполнял комнату, взор Владимира Михайловича встречал упорный взгляд чёрных глаз собаки. Они говорили: приди же, приласкай меня. И, чтобы сделать это желание более понятным, собака вытягивала передние лапы, клала на них боком голову, а зад её потешно поднимался, и хвост вертелся, как ручка у шарманки.

– Друг ты мой единственный! – говорил Владимир Михайлович и гладил чёрную блестящую шерсть. Точно от полноты чувства, собака опрокидывалась на спину, скалила бе-

лые зубы и легонько ворчала, радостная и возбуждённая. А он вздыхал, ласкал её и думал, что нет больше на свете никого, кто любил бы его.

Если Владимир Михайлович возвращался рано и не уставал от работы, он садился писать, и тогда собака укладывалась комочком где-нибудь на стуле возле него, изредка открывала один чёрный глаз и спросонья виляла хвостом. И когда, взволнованный процессом творчества, измученный муками своих героев, задыхающийся от наплыва мыслей и образов, он ходил по комнате и курил папиросу за папиросой, она следила за ним беспокойным взглядом и сильнее виляла хвостом.

– Будем мы с тобой знамениты, Васюк? – спрашивал он собаку, и та утвердительно махала хвостом.

– Будем тогда печёнку есть, ладно?

«Ладно», – отвечала собака и сладко потягивалась: она любила печёнку.

У Владимира Михайловича часто собирались гости. Тогда его тётка, с которой он жил, добывала у соседей посуду, поила чаем, ставя самовар за самоваром, ходила покупать водку и колбасу и тяжело вздыхала, доставая со дна кармана зашаренный рубль. В накуренной комнате звучали громкие голоса. Спорили, смеялись, говорили смешные и острые вещи, жаловались на свою судьбу и завидовали друг другу; советовали Владимиру Михайловичу бросить литературу и заняться другим, более выгодным делом. Одни говорили, что ему

нужно лечиться, другие чокались с ним рюмками и говорили о вреде водки для его здоровья. Он такой больной, постоянно нервничающий. Оттого у него припадки тоски, оттого он ищет в жизни невозможного. Все говорили с ним на «ты», и в голосе их звучало участие, и они дружески звали его с собой ехать за город продолжать попойку. И когда он, весёлый, кричащий больше всех и беспричинно смеющийся, уезжал, его провожали две пары глаз: серые глаза тётки, сердитые и упрекающие, и чёрные, беспокойно ласковые глаза собаки.

Он не помнил, что он делал, когда пил и когда к утру возвращался домой, выпачканный в грязи и мелу и потерявший шляпу. Передавали ему, что во время попойки он оскорблял друзей, а дома обижал тётку, которая плакала и говорила, что не выдержит такой жизни и удавится, и мучил собаку за то, что она не идёт к нему ласкаться. Когда же она, испуганная и дрожащая, скалила зубы, то бил её ремнём. Наступал следующий день; все уже кончали свою дневную работу, а он просыпался больной и страдающий. Сердце неровно колотилось в груди и замирало, наполняя его страхом близкой смерти, руки дрожали. За стеной, в кухне, стучала тётка, и звук её шагов разносился по пустой и холодной квартире. Она не заговаривала с Владимиром Михайловичем и молча подавала ему воду, суровая, непрощающая. И он молчал, смотрел на потолок в одно давно им замеченное пятнышко и думал, что он сжигает свою жизнь и никогда у него не будет ни славы, ни счастья. Он сознавал себя ничтожным, и слабым, и

одиноким до ужаса. Бесконечный мир кишел движущимися людьми, и не было ни одного человека, который пришёл бы к нему и разделил его муки, – безумно-горделивые помыслы о славе и убийственное сознание ничтожества. Дрожащей, ошибающейся рукой он хватался за холодный лоб и сжимал веки, но, как ни крепко он их сжимал, слеза просачивалась и скользила по щеке, ещё сохранившей запах продажных поцелуев. А когда он опускал руку, она падала на другой лоб, шерстистый и гладкий, и затуманенный слезой взгляд встречал чёрные, ласковые глаза собаки, и ухо ловило её тихие вздохи. И он шептал, тронутый, утешенный:

– Друг, друг мой единственный!..

Когда он выздоравливал, к нему приходили друзья и мягко упрекали его, давали советы и говорили о вреде водки. А те из друзей, кого он оскорбил пьяный, переставали кланяться ему. Они понимали, что он не хотел им зла, но они не желали наткнуться на неприятность. Так, в борьбе с самим собой, неизвестностью и одиночеством протекали угарные, чадные ночи и строго карающие светлые дни. И часто в пустой квартире гулко отдавались шаги тётки, и на кровати слышался шёпот, похожий на вздох:

– Друг, друг мой единственный!..

И наконец она пришла, эта неуловимая слава, пришла неожиданная-негаданная и наполнила светом и жизнью пустую квартиру. Шаги тётки тонули в топоте дружеских ног, призрак одиночества исчез, и замолк тихий шёпот. Исчезла и

водка, этот зловещий спутник одиноких, и Владимир Михайлович более не оскорблял ни тётки, ни друзей. Радовалась и собака. Ещё звончее стал её лай при поздних встречах, когда он, её единственный друг, приходил добрый, весёлый, смеющийся, и она сама научилась смеяться; верхняя губа её приподнималась, обнажая белые зубы, и потешными складками морщился нос. Весёлая, шаловливая, она начинала играть, хватала его вещи и делала вид, что хочет унести их, а когда он протягивал руки, чтобы поймать её, подпускала его на шаг и снова убегала, и чёрные глаза её искрились лукавством. Иногда он показывал собаке на тётку и кричал: «куси», и собака с притворным гневом набрасывалась на неё, тормошила её юбку и, задыхаясь, косилась чёрным лукавым глазом на друга. Тонкие губы тётки кривились в суровую улыбку, она гладила заигравшуюся собаку по блестящей голове и говорила:

– Умная собака, только вот супу не любит.

А по ночам, когда Владимир Михайлович работал и только дребезжание стёкол от уличной езды нарушало тишину, собака чутко дремала возле него и пробуждалась при малейшем его движении.

– Что, брат, печёнки хочешь? – спрашивал он.

– Хочу, – утвердительно вилял хвостом Васюк.

– Ну погоди, куплю. Что, хочешь, чтобы приласкал? Некогда, брат, некогда. Спи.

Каждую ночь спрашивал он собаку о печёнке, но постоян-

но забывал купить её, так как голова его была полна планами новых творений и мыслями о женщине, которую он любил. Раз только вспомнил он о печёнке; это было вечером, и он проходил мимо мясной лавки, а под руку с ним шла красивая женщина и плотно прижимала свой локоть к его локтю. Он шутливо рассказал ей о своей собаке, хвалил её ум и понятливость. Немного рисуясь, он передал о том, что были ужасные, тяжёлые минуты, когда он считал собаку единственным своим другом, и шутя рассказал о своём обещании купить другу печёнки, когда будет счастлив... Он плотнее прижал к себе руку девушки.

– Художник! – смеясь, воскликнула она. – Вы даже камни заставите говорить; а я очень не люблю собак: от них так легко заразиться.

Владимир Михайлович согласился, что от собаки легко можно заразиться, и промолчал о том, что он иногда целовал блестящую чёрную морду.

Однажды днём Васюк играл больше обыкновенного, а вечером, когда Владимир Михайлович пришёл домой, не явился встречать его, и тётка сказала, что собака больна. Владимир Михайлович встревожился и пошёл в кухню, где на тоненькой подстилке лежала собака. Нос её был сухой и горячий, и глаза помутнели. Она пошевелила хвостом и печально посмотрела на друга.

– Что, мальчик, болен? Бедный ты мой!

Хвост слабо шевельнулся, и чёрные глаза стали влажны-

ми.

– Ну, лежи, лежи.

«Надо бы к ветеринару отвезти, а мне завтра некогда. Ну, да так пройдёт», – думал Владимир Михайлович и забыл о собаке, мечтая о том счастье, какое может дать ему красивая девушка. Весь следующий день его не было дома, а когда он вернулся, рука его долго шарила, ища звонка, а найдя, долго недоумевала, что делать с этой деревяшкой.

– Ах, да нужно же позвонить, – засмеялся он и запел: – Отворите!

Одинокó звякнул колокольчик, зашлёпали калоши, и скрипнул снимаемый крючок. Напевая, Владимир Михайлович прошёл в комнату, долго ходил, прежде чем догадался, что ему нужно зажечь лампу, потом разделся, но ещё долго держал в руках снятый сапог и смотрел на него так, как будто это была красивая девушка, которая сегодня сказала так просто и сердечно: да, я люблю вас. И, улёгшись, он все продолжал видеть её живое лицо, пока рядом с ним не встала чёрная, блестящая морда собаки, и острой болью кольнул в сердце вопрос: а где же Васюк? Стало совестно, что он забыл больную собаку, но не особенно: ведь не раз Васюк бывал болен, и ничего же. А завтра можно пригласить ветеринара. Но во всяком случае не нужно думать о собаке и о своей неблагодарности – это ничему не помогает и уменьшает счастье.

Сутра собаке стало худо. Её мучила рвота, и, воспитанная в правилах строгого приличия, она тяжело поднималась

с подстилки и шла на двор, шатаясь, как пьяная. Её маленькое чёрное тело лоснилось, как всегда, но голова была бес- сильно опущена, и посеревшие глаза смотрели печально и удивлённо. Сперва Владимир Михайлович сам вместе с тёткой раскрывал собаке рот с пожелтевшими дёснами и вливал лекарство, но она так мучилась, так страдала, что ему стало тяжело смотреть на неё, и он оставил её на попечение тётки. Когда же из-за стены доходил до него слабый, беспомощный стон, он закрывал уши руками и удивлялся, до чего он любит эту бедную собаку.

Вечером он ушёл. Когда перед тем он заглянул в кухню, тётка стояла на коленях и гладила сухой рукой шелковистую горячую голову. Вытянув ноги, как палки, собака лежала тяжёлой и неподвижной, и только наклонившись к самой её морде, можно было услышать тихие и частые стоны. Глаза её, совсем посеревшие, устремились на вошедшего, и, когда он осторожно провёл по лбу, стоны сделались явственнее и жалобнее.

– Что, брат, плохо дело? Ну, погоди, выздоровеешь, печёнки куплю.

– Суп есть заставлю, – шутливо пригрозила тётка.

Собака закрыла глаза, и Владимир Михайлович, ободрённый шуткой, торопливо ушёл и на улице нанял извозчика, так как боялся опоздать на свидание с Натальей Лаврентьевной.

В эту осеннюю ночь так свеж и чист был воздух, так мно-

го звёзд сверкало на тёмном небе. Они падали, оставляя огнистый след, и вспыхивали, и голубым светом озаряли красивое женское лицо, и отражались в тёмных глазах – точно светляк появлялся на дне чёрного глубокого колодца. И жадные губы беззвучно целовали и глаза эти, и свежие, как воздух ночи, уста, и холодную щеку. Ликующие, дрожащие любовью голоса, сплетаясь, шептали о радости и жизни.

Подъезжая к дому, Владимир Михайлович вспомнил о собаке, и грудь его заныла от тёмного предчувствия. Когда тётка отворила дверь, он спросил:

– Ну, что Васюк?

– Околел. Через час после твоего ухода.

Околевшую собаку уже вынесли и выбросили куда-то, и подстилка была убрана. Но Владимир Михайлович и не хотел видеть трупа: это было бы слишком тяжёлое зрелище. Когда он улёгся спать и в пустой квартире замолкли все звуки, он заплакал, сдерживая себя. Безмолвно кривились его губы, и слезы набухали под закрытыми веками и быстро скатывались на грудь. Ему было стыдно, что он целовал женщину в тот миг, когда здесь, на полу, одиноко умирал тот, кто был его другом. И он боялся, что подумает тётка о нем, серьёзном человеке, услышав, что он плачет о собаке.

С тех пор прошло много времени. Слава ушла от Владимира Михайловича так же, как и пришла – загадочная и жестокая. Он обманул надежды, которые возлагали на него, и все были злы на этот обман и выместили его негодующими

речами и холодными насмешками. А потом, точно крышка гроба, опустилось на него мёртвое, тяжёлое забвение.

Женщина покинула его: она также считала себя обманутой.

Проходили угарные, чадные ночи и беспощадно карающие белые дни, и часто, чаще, чем прежде, гулко раздавались в пустой квартире шаги тётки, а он лежал на своей кровати, смотрел в знакомое пятнышко на потолке и шептал:

– Друг, друг мой единственный...

И бессильно падала на пустое место дрожащая рука.

Большой шлем

Они играли в винт три раза в неделю: по вторникам, четвергам и субботам; воскресенье было очень удобно для игры, но его пришлось оставить на долю всяким случайностям: приходу посторонних, театру, и поэтому оно считалось самым скучным днём в неделе. Впрочем, летом, на даче, они играли и в воскресенье. Размещались они так: толстый и горячий Масленников играл с Яковом Ивановичем, а Евпраксия Васильевна – со своим мрачным братом, Прокопием Васильевичем. Такое распределение установилось давно, лет шесть назад, и настояла на нем Евпраксия Васильевна. Дело в том, что для неё и её брата не представляло никакого интереса играть отдельно, друг против друга, так как в этом случае выигрыш одного был проигрыш для другой и в окончательном результате они не выигрывали и не проигрывали. И хотя в денежном отношении игра была ничтожная и Евпраксия Васильевна и её брат в деньгах не нуждались, но она не могла понять удовольствия игры для игры и радовалась, когда выигрывала. Выигранные деньги она откладывала отдельно, в копилку, и они казались ей гораздо важнее и дороже, чем те крупные кредитки, которые приходилось ей платить за дорогую квартиру и выдавать на хозяйство. Для игры собирались у Прокопия Васильевича, так как во всей обширной квартире жили только они вдвоём с сестрой, – существо-

вал ещё большой белый кот, но он всегда спал на кресле, — а в комнатах царила необходимая для занятий тишина. Брат Евпраксии Васильевны был вдов: он потерял жену на второй год после свадьбы и целых два месяца после того провёл в лечебнице для душевнобольных; сама она была незамужняя, хотя когда-то имела роман со студентом. Никто не знал, да и она, кажется, позабыла, почему ей не пришлось выйти замуж за своего студента, но каждый год, когда появлялось обычное воззвание о помощи нуждающимся студентам, она посылая в комитет аккуратно сложенную сторублевую бумажку «от неизвестной». По возрасту она была самой молодой из игроков: ей было сорок три года.

Вначале, когда создалось распределение на пары, им особенно был недоволен старший из игроков, Масленников. Он возмущался тем, что ему постоянно придётся иметь дело с Яковом Ивановичем, то есть, другими словами, бросить мечту о большом бескозырном шлеме. И вообще они с партнёром совершенно не подходили друг к другу. Яков Иванович был маленький, сухонький старичок, зиму и лето ходивший в наваченном сюртуке и брюках, молчаливый и строгий. Являлся он всегда ровно в восемь часов, ни минутой раньше или позже, и сейчас же брал мелок сухими пальцами, на одном из которых свободно ходил большой брильянтовый перстень. Но самым ужасным для Масленникова в его партнёре было то, что он никогда не играл больше четырех, даже тогда, когда на руках у него имелась большая и верная игра.

Однажды случилось, что как начал Яков Иванович ходить с двойки, так и отходил до самого туза, взяв все тридцать взяток. Масленников с гневом бросил свои карты на стол, а седенький старичок спокойно собрал их и записал за игру, сколько следует при четырех.

– Но почему же вы не играли большого шлема? – вскрикнул Николай Дмитриевич (так звали Масленникова).

– Я никогда не играю больше четырех, – сухо ответил старичок и наставительно заметил: – Никогда нельзя знать, что может случиться.

Так и не мог убедить его Николай Дмитриевич. Сам он всегда рисковал и, так как карта ему не шла, постоянно проигрывал, но не отчаивался и думал, что ему удастся отыграться в следующий раз. Постепенно они свыклись со своим положением и не мешали друг другу: Николай Дмитриевич рисковал, а старик спокойно записывал проигрыш и назначал игру в четырех.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Дряхлый мир покорно нёс тяжёлое ярмо бесконечного существования и то краснел от крови, то обливался слезами, оглашая свой путь в пространстве стонами больных, голодных и обиженных. Слабые отголоски этой тревожной и чуждой жизни приносил с собой Николай Дмитриевич. Он иногда запаздывал и входил в то время, когда все уже сидели за разложенным столом и карты розовым веером выделялись на его зеленой поверхности.

Николай Дмитриевич, краснощёкий, пахнувший свежим воздухом, поспешно занимал своё место против Якова Ивановича, извинялся и говорил:

– Как много гуляющих на бульваре. Так и идут, так и идут...

Евпраксия Васильевна считала себя обязанной, как хозяйка, не замечать странностей своих гостей. Поэтому она отвечала одна, в то время как старичок молча и строго приготавливал мелок, а брат её распоряжался насчёт чаю.

– Да, вероятно, – погода хорошая. Но не начать ли нам?

И они начинали. Высокая комната, уничтожавшая звук своей мягкой мебелью и портъерами, становилась совсем глухой. Горничная неслышно двигалась по пушистому ковру, разнося стаканы с крепким чаем, и только шуршали её накрахмаленные юбки, скрипел мелок и вздыхал Николай Дмитриевич, поставивший большой ремиз. Для него наливался жиденский чай и ставился особый столик, так как он любит пить с блюдца и непременно с тянучками.

Зимой Николай Дмитриевич сообщал, что днём морозу было десять градусов, а теперь уже дошло до двадцати. а летом говорил:

– Сейчас целая компания в лес пошла. С корзинками.

Евпраксия Васильевна вежливо смотрела на небо летом они играли на террасе – и, хотя небо было чистое и верхушки сосен золотели, замечала:

– Не было бы дождя.

А старичок Яков Иванович строго раскладывал карты и, вынимая червонную двойку, думал, что Николай Дмитриевич легкомысленный и неисправимый человек. Одно время Масленников сильно беспокоил своих партнёров. Каждый раз, приходя, он начинал говорить одну или две фразы о Дрейфусе. Делая печальную физиономию, он сообщал:

– А плохи дела нашего Дрейфуса.

Или, наоборот, смеялся и радостно говорил, что несправедливый приговор, вероятно, будет отменён. Потом он стал приносить газеты и прочитывал из них некоторые места все о том же Дрейфусе.

– Читали уже, – сухо говорил Яков Иванович, но партнёр не слушал его и прочитывал, что казалось ему интересным и важным. Однажды он таким образом довёл остальных до спора и чуть ли не до ссоры, так как Евпраксия Васильевна не хотела признавать законного порядка судопроизводства и требовала, чтобы Дрейфуса освободили немедленно, а Яков Иванович и её брат настаивали на том, что сперва необходимо соблюсти некоторые формальности и потом уже освободить. Первым опомнился Яков Иванович и сказал, указывая на стол:

– Но не пора ли?

И они сели играть, и потом, сколько ни говорил Николай Дмитриевич о Дрейфусе, ему отвечали молчанием.

Так играли они лето и зиму, весну и осень. Иногда случались события, но больше смешного характера. На брата Ев-

практики Васильевны временами как будто что-то находило, и он не помнил, что говорили о своих картах партнёры, и при верных пяти оставался без одной. Тогда Николай Дмитриевич громко смеялся и преувеличивал значение проигрыша, а старичок улыбался и говорил:

– Играли бы четыре – и были бы при своих.

Особенное волнение проявлялось у всех игроков. когда назначала большую игру Евпраксия Васильевна. Она краснела, терялась, не зная, какую класть ей карту, и с мольбою смотрела на брата, а другие двое партнёров с рыцарским сочувствием к её женственности и беспомощности ободряли её снисходительными улыбками и терпеливо ожидали. В общем, однако, к игре относились серьёзно и вдумчиво. Карты уже давно потеряли в их глазах значение бездушной материи, и каждая масть, а в масти каждая карта в отдельности, была строго индивидуальна и жила своей обособленной жизнью. Масти были любимые и нелюбимые, счастливые и несчастливые. Карты комбинировались бесконечно разнообразно, и разнообразие это не поддавалось ни анализу, ни правилам, но было в то же время закономерно. И в закономерности этой заключалась жизнь карт, особая от жизни игравших в них людей. Люди хотели и добивались от них своего, а карты делали своё, как будто они имели свою волю, свои вкусы, симпатии и капризы. Черви особенно часто приходили к Якову Ивановичу, а у Евпраксии Васильевны руки постоянно полны бывали пик, хотя она их очень не любила. Случа-

лось, что карты капризничали, и Яков Иванович не знал, куда деваться от пик, а Евпраксия Васильевна радовалась червям, назначала большие игры и ремизилась. И тогда карты как будто смеялись. К Николаю Дмитриевичу ходили одинаково все масти, и ни одна не оставалась надолго, и все карты имели такой вид, как постояльцы в гостинице, которые приезжают и уезжают, равнодушные к тому месту, где им пришлось провести несколько дней. Иногда несколько вечеров подряд к нему ходили одни двойки и тройки и имели при этом дерзкий и насмешливый вид. Николай Дмитриевич был уверен, что он оттого не может сыграть большого шлема, что карты знают о его желании и нарочно не идут к нему, чтобы позлить. И он притворялся, что ему совершенно безразлично, какая игра у него будет, и старался подольше не раскрывать прикупа. Очень редко удавалось ему таким образом обмануть карты; обыкновенно они догадывались, и, когда он раскрывал прикуп, оттуда смеялись три шестёрки и хмуро улыбался пиковый король, которого они затащили для компании.

Меньше всех проникала в таинственную суть карт Евпраксия Васильевна; старичок Яков Иванович давно выработал строго философский взгляд и не удивлялся и не огорчался, имея верное оружие против судьбы в своих четырех. Один Николай Дмитриевич никак не мог примириться с прихотливым нравом карт, их насмешливостью и непостоянством. Ложась спать, он думал о том, как он сыграет боль-

шой шлем в бескозырях, и это представлялось таким простым и возможным: вот приходит один туз, за ним король, потом опять туз. Но когда, полный надежды, он садился играть, проклятые шестёрки опять скалили свои широкие белые зубы. В этом чувствовалось что-то роковое и злобное. И постепенно большой шлем в бескозырях стал самым сильным желанием и даже мечтой Николая Дмитриевича.

Произошли и другие события вне карточной игры. У Евпраксии Васильевны умер от старости большой белый кот и, с разрешения домовладельца, был похоронен в саду под липой. Затем Николай Дмитриевич исчез однажды на целых две недели, и его партнёры не знали, что думать и что делать, так как винт втроем ломал все установившиеся привычки и казался скучным. Сами карты точно сознавали это и сочетались в непривычных формах. Когда Николай Дмитриевич явился, розовые щеки, которые так резко отделялись от седых пушистых волос, посерели, и он весь стал меньше и ниже ростом. Он сообщил, что его старший сын за что-то арестован и отправлен в Петербург. Все удивились, так как не знали, что у Масленникова есть сын; может быть, он когда-нибудь и говорил, но все позабыли об этом. Вскоре после этого он ещё один раз не явился, и, как нарочно, в субботу, когда игра продолжалась дольше обыкновенного, и все опять с удивлением узнали, что он давно страдает грудной жабой и что в субботу у него был сильный припадок болезни. Но потом все опять установилось, и игра стала даже серьёзнее и

интереснее, так как Николай Дмитриевич меньше развлекался посторонними разговорами. Только шуршали крахмальные юбки горничной да неслышно скользили из рук игроков атласные карты и жили своей таинственной и молчаливой жизнью, особой от жизни игравших в них людей. К Николаю Дмитриевичу они были по прежнему равнодушны и иногда злонасмешливы, и в этом чувствовалось что-то роковое, фатальное.

Но в четверг, 26 ноября, в картах произошла странная перемена. Как только началась игра, к Николаю Дмитриевичу пришла большая коронка, и он сыграл, и даже не пять, как назначил, а маленький шлем, так как у Якова Ивановича оказался лишний туз, которого он не хотел показать. Потом опять на некоторое время появились шестёрки, но скоро исчезли, и стали приходить полные масти, и приходили они с соблюдением строгой очереди, точно всем им хотелось посмотреть, как будет радоваться Николай Дмитриевич. Он назначал игру за игрой, и все удивлялись, даже спокойный Яков Иванович. Волнение Николая Дмитриевича, у которого пухлые пальцы с ямочками на сгибах потели и роняли карты, передалось и другим игрокам.

– Ну и везёт вам сегодня, – мрачно сказал брат Евпраксии Васильевны, сильнее всего боявшийся слишком большого счастья, за которым идёт также большое горе. Евпраксии Васильевне было приятно, что наконец-то к Николаю Дмитриевичу пришли хорошие карты, и она на слова брата три

раза сплюнула в сторону, чтобы предупредить несчастье.

– Тьфу, тьфу, тьфу! Ничего особенного нет. Идут карты и идут, и дай бог, чтобы побольше шли.

Карты на минуту словно задумались в нерешимости, мелькнуло несколько двоек со смущённым видом – и снова с усиленной быстротой стали являться тузы, короли и дамы. Николай Дмитриевич не поспевал собирать карты и назначать игру и два раза уже засдался, так что пришлось пересдать. И все игры удавались, хотя Яков Иванович упорно умалчивал о своих тузах: удивление его сменилось недоверием ко внезапной перемене счастья, и он ещё раз повторил неизменное решение – не играть больше четырех. Николай Дмитриевич сердился на него, краснел и задыхался. Он уже не обдумывал своих ходов и смело назначал высокую игру, уверенный, что в прикупе он найдёт, что нужно.

Когда после сдачи карт мрачным Прокопием Васильевичем Масленников раскрыл свои карты, сердце его заколотилось и сразу упало, а в глазах стало так темно, что он покачнулся – у него было на руках двенадцать взяток: трефы и черви от туза до десятки и бубновый туз с королём. Если он купит пикового туза, у него будет большой бескозырный шлем.

– Два без козыря, – начал он, с трудом справляясь с голосом.

– Три пики, – ответила Евпраксия Васильевна, которая была также сильно взволнована: у неё находились почти все

пики, начиная от короля.

– Четыре черви, – сухо отозвался Яков Иванович.

Николай Дмитриевич сразу повысил игру на малый шлем, но разгорячённая Евпраксия Васильевна не хотела уступать и, хотя видела, что не сыграет, назначила большой в пиках. Николай Дмитриевич задумался на секунду и с некоторой торжественностью, за которой скрывался страх, медленно произнёс:

– Большой шлем в бескозырях!

Николай Дмитриевич играет большой шлем в бескозырях! Все были поражены, и брат хозяйки даже крикнул:

– Ого!

Николай Дмитриевич протянул руку за прикупом, но покачнулся и повалил свечку. Евпраксия Васильевна подхватила её, а Николай Дмитриевич секунду сидел неподвижно и прямо, положив карты на стол, а потом взмахнул руками и медленно стал валиться на левую сторону. Падая, он свалил столик, на котором стояло блюдечко с налитым чаем, и придавил своим телом его хрустнувшую ножку.

Когда приехал доктор, он нашёл, что Николай Дмитриевич умер от паралича сердца, и в утешение живым сказал несколько слов о безболезненности такой смерти. Покойника положили на турецкий диван в той же комнате, где играли, и он, покрытый простыней, казался громадным и страшным. Одна нога, обращённая носком внутрь, осталась непокрытой и казалась чужой, взятой от другого человека; на подошве

сапога, чёрной и совершенно новой на выемке, прилипла бумажка от тянучки. Карточный стол ещё не был убран, и на нем валялись беспорядочно разбросанные, рубашкой вниз, карты партнёров и в порядке лежали карты Николая Дмитриевича, тоненькой колодкой, как он их положил.

Яков Иванович мелкими и неуверенными шагами ходил по комнате, стараясь не смотреть на покойника и не сходить с ковра на натёртый паркет, где высокие каблуки его издавали дробный и резкий стук. Пройдя несколько раз мимо стола, он остановился и осторожно взял карты Николая Дмитриевича, рассмотрел их и, сложив такой же кучкой, тихо положил на место. Потом он посмотрел прикуп: там был пиковый туз, тот самый, которого не хватало Николаю Дмитриевичу для большого шлема. Пройдясь ещё несколько раз, Яков Иванович вышел в соседнюю комнату, плотнее застегнул наваченный сюртук и заплакал, потому что ему было жаль покойного. Закрыв глаза, он старался представить себе лицо Николая Дмитриевича, каким оно было при его жизни, когда он выигрывал и смеялся. Особенно жаль было вспомнить легкомыслие Николая Дмитриевича и то, как ему хотелось выиграть большой бескозырный шлем. Проходил в памяти весь сегодняшний вечер, начиная с пяти бубён, которые сыграл покойный, и кончая этим беспрерывным наплывом хороших карт, в котором чувствовалось что-то страшное. И вот Николай Дмитриевич умер – умер, когда мог наконец сыграть большой шлем.

Но одно соображение, ужасное в своей простоте, потрясло худенькое тело Якова Ивановича и заставило его вскочить с кресла. Оглядываясь по сторонам, как будто мысль не сама пришла к нему, а кто-то шепнул её на ухо, Яков Иванович громко сказал:

– Но ведь никогда он не узнает, что в прикупе был туз и что на руках у него был верный большой шлем. Никогда!

И Якову Ивановичу показалось, что он до сих пор не понимал, что такое смерть. Но теперь он понял, и то, что он ясно увидел, было до такой степени бессмысленно, ужасно и непоправимо. Никогда не узнает! Если Яков Иванович станет кричать об этом над самым его ухом, будет плакать и показывать карты, Николай Дмитриевич не услышит и никогда не узнает, потому что нет на свете никакого Николая Дмитриевича. Ещё одно бы только движение, одна секунда чего-то, что есть жизнь, – и Николай Дмитриевич увидел бы туза и узнал, что у него есть большой шлем, а теперь все кончилось, и он не знает и никогда не узнает.

– Ни-ко-гда, – мысленно, по слогам, произнёс Яков Иванович, чтобы убедиться, что такое слово существует и имеет смысл.

Такое слово существовало и имело смысл, но он был до того чудовищен и горек, что Яков Иванович снова упал в кресло и беспомощно заплакал от жалости к тому, кто никогда не узнает, и от жалости к себе, ко всем, так как то же страшно и бессмысленно жестокое будет и с ним и со всеми.

Он плакал – и играл за Николая Дмитриевича его картами, и брал взятки одна за другой, пока не собралось их тринадцать, и думал, как много пришлось бы записать и что никогда Николай Дмитриевич этого не узнает. Это был первый и последний раз, когда Яков Иванович отступил от своих четырех и сыграл во имя дружбы большой бескозырный шлем.

– Вы здесь, Яков Иванович? – сказала вошедшая Евпраксия Васильевна, опустилась на рядом стоящий стул и заплакала. – Как ужасно, как ужасно!

Оба они не смотрели друг на друга и молча плакали, чувствуя, что в соседней комнате, на диване, лежит мертвец, холодный, тяжёлый и немой.

– Вы послали сказать? – спросил Яков Иванович, громко и истово сморкаясь.

– Да, брат поехал с Аннушкой. Но как они разыщут его квартиру – ведь мы адреса его не знаем.

– А разве он не на той же квартире, что в прошлом году? – рассеянно спросил Яков Иванович.

– Нет, переменял. Аннушка говорит, что он нанимал извозчика куда-то на Новинский бульвар.

– Найдут через полицию, – успокоил старичок. – У него ведь, кажется, есть жена?

Евпраксия Васильевна задумчиво смотрела на Якова Ивановича и не отвечала. Ему показалось, что в её глазах видна та же мысль, что пришла и ему в голову. Он ещё раз высморкался, спрятал платок в карман наваченного сюртука и

сказал, вопросительно поднимая брови над покрасневшими глазами:

– А где же мы возьмём теперь четвёртого?

Но Евпраксия. Васильевна не слыхала его, занятая соображениями хозяйственного характера. Помолчав, она спросила:

– А вы, Яков Иванович, все на той же квартире?

Ангелочек

I

Временами Сашке хотелось перестать делать то, что называется жизнью: не умываться по утрам холодной водой, в которой плавают тоненькие пластинки льда, не ходить в гимназию, не слушать там, как все его ругают, и не испытывать боли в пояснице и во всем теле, когда мать ставит его на целый вечер на колени. Но так как ему было тринадцать лет и он не знал всех способов, какими люди перестают жить, когда захотят этого, то он продолжал ходить в гимназию и стоять на коленках, и ему показалось, что жизнь никогда не кончится. Пройдёт год, и ещё год, и ещё год, а он будет ходить в гимназию и стоять дома на коленках. И так как Сашка обладал непокорной и смелой душой, то он не мог спокойно отнестись ко злу и мстил жизни. Для этой цели он бил товарищей, грубил начальству, рвал учебники и целый день лгал то учителям, то матери, не лгал он только одному отцу. Когда в драке ему расшибали нос, он нарочно расковыривал его ещё больше и орал без слез, но так громко, что все испытывали неприятное ощущение, морщились и затыкали уши. Проорав сколько нужно, он сразу умолкал, показывал язык и рисовал в черновой тетрадке карикатуру на себя, как орёт,

на надзирателя, заткнувшего уши, и на дрожащего от страха победителя. Вся тетрадка заполнена была карикатурами, и чаще всех повторялась такая: толстая и низенькая женщина была скалкой тонкого, как спичка, мальчика. Внизу крупными и неровными буквами чернела подпись: «Проси прощения, щенок», – и ответ: «Не попрошу, хоть тресни». Перед рождеством Сашку выгнали из гимназии, и, когда мать стала бить его, он укусил её за палец. Это дало ему свободу, и он бросил умываться по утрам, бегал целый день с ребятами и бил их, и боялся одного голода, так как мать перестала совсем кормить его, и только отец прятал для него хлеб и картошку. При этих условиях Сашка находил существование возможным.

В пятницу, накануне рождества, Сашка играл с ребятами, пока они не разошлись по домам и не проскрипела ржавым, морозным скрипом калитка за последним из них. Уже темнело, и с поля, куда выходил одним концом глухой переулок, надвигалась серая снежная мгла; в низеньком чёрном строении, стоявшем поперёк улицы, на выезде, зажёгся красноватый, немигающий огонёк. Мороз усилился, и, когда Сашка проходил в светлом круге, который образовался от зажжённого фонаря, он видел медленно реявшие в воздухе маленькие сухие снежинки. Приходилось идти домой.

– Где полуночицаешь, щенок? – крикнула на него мать, замахнулась кулаком, но не ударила. Рукава у неё были засучены, обнажая белые, толстые руки, и на безбровом, плос-

ком лице выступали капли пота. Когда Сашка проходил мимо неё, он почувствовал знакомый запах водки. Мать почесала в голове толстым указательным пальцем с коротким и грязным ногтем и, так как браниться было некогда, только плюнула и крикнула:

– Статистики, одно слово!

Сашка презрительно шморгнул носом и прошёл за перегородку, где слышалось тяжёлое дыхание отца, Ивана Саввича. Ему всегда было холодно, и он старался согреться, сидя на раскалённой лежанке и подкладывая под себя руки ладонями книзу.

– Сашка! А тебя Свечниковы на ёлку звали. Горничная приходила, – прошептал он.

– Врёшь? – спросил с недоверием Сашка.

– Ей-богу. Эта ведьма нарочно ничего не говорит, а уж и куртку приготовила.

– Врёшь? – все больше удивлялся Сашка.

Богачи Свечниковы, определившие его в гимназию, не вели после его исключения показываться к ним. Отец ещё раз побожился, и Сашка задумался.

– Ну-ка подвинься, расселся! – сказал он отцу, прыгая на коротенькую лежанку, и добавил: – А к этим чертям я не пойду. Жирны больно станут, если ещё я к ним пойду. «Испорченный мальчик», – протянул Сашка в нос. – Сами хороши, антипы толсторожие.

– Ах, Сашка, Сашка! – поёжился от холода отец. – Не сно-

сильно тебе головы.

– А ты-то сносил? – грубо возразил Сашка. – Молчал бы уж: бабы боится. Эх, тюря!

Отец сидел молча и ёжился. Слабый свет проникал через широкую щель вверху, где перегородка на четверть не доходила до потолка, и светлым пятном ложился на его высокий лоб, под которым чернели глубокие глазные впадины. Когда-то Иван Саввич сильно пил водку, и тогда жена боялась и ненавидела его. Но когда он начал харкать кровью и не мог больше пить, стала пить она, постепенно привыкая к водке. И тогда она выместила все, что ей пришлось выстрадать от высокого узкогрудого человека, который говорил непонятные слова, выгонялся за строптивость и пьянство со службы и наводил к себе таких же длинноволосых безобразников и гордецов, как и он сам. В противоположность мужу она здоровела по мере того, как пила, и кулаки её все тяжелели. Теперь она говорила, что хотела, теперь она водила к себе мужчин и женщин, каких хотела, и громко пела с ними весёлые песни. А он лежал за перегородкой, молчаливый, съёжившийся от постоянного озноба, и думал о несправедливости и ужасе человеческой жизни. И всем, с кем ни приходилось говорить жене Ивана Саввича, она жаловалась, что нет у неё на свете таких врагов, как муж и сын: оба гордецы и статистики.

Через час мать говорила Сашке:

– А я тебе говорю, что ты пойдёшь! – И при каждом слове

Феоктиста Петровна ударяла кулаком по столу, на котором вымытые стаканы прыгали и звякали друг о друга.

– А я тебе говорю, что не пойду, – хладнокровно отвечал Сашка, и углы губ его подёргивались от желания оскалить зубы. В гимназии за эту привычку его звали волчонком.

– Изобью я тебя, ох как изобью! – кричала мать.

– Что же, избеи!

Феоктиста Петровна знала, что бить сына, который стал кусаться, она уже не может, а если выгнать на улицу, то он отправится шататься и скорей замёрзнет, чем пойдёт к Свечниковым; поэтому она прибегала к авторитету мужа.

– А ещё отец называется: не может мать от оскорблений оберечь.

– Правда, Сашка, ступай, что ломаешься? – отозвался тот с лежанки. – Они, может быть, опять тебя устроят. Они люди добрые.

Сашка оскорбительно усмехнулся. Отец давно, до Сашки-на ещё рождения, был учителем у Свечниковых и с тех пор думал, что они самые хорошие люди. Тогда он ещё служил в земской статистике и ничего не пил. Разошёлся он с ними после того, как женился на забеременевшей от него дочери квартирной хозяйки, стал пить и опустился до такой степени, что его пьяного поднимали на улице и отвозили в участок. Но Свечниковы продолжали помогать ему деньгами, и Феоктиста Петровна, хотя ненавидела их, как книги и все, что связывалось с прошлым её мужа, дорожила знакомством

и хвалилась им.

– Может быть, и мне что-нибудь с ёлки принесёшь, – продолжал отец.

Он хитрил – Сашка понимал это и презирал отца за слабость и ложь, но ему действительно захотелось что-нибудь принести больному и жалкому человеку. Он давно уже сидит без хорошего табаку.

– Ну, ладно! – буркнул он. – Давай, что ли, куртку. Пуговицы пришила? А то ведь я тебя знаю!

II

Детей ещё не пускали в залу, где находилась ёлка, и они сидели в детской и болтали. Сашка с презрительным высокомерием прислушивался к их наивным речам и ощупывал в кармане брюк уже переломавшиеся папиросы, которые удалось ему стащить из кабинета хозяина. Тут подошёл к нему самый маленький Свечников, Коля, и остановился неподвижно и с видом изумления, составив ноги носками внутрь и положив палец на угол пухлых губ. Месяцев шесть тому назад он бросил, по настоянию родственников, скверную привычку класть палец в рот, но совершенно отказаться от этого жеста ещё не мог. У него были белые волосы, подрезанные на лбу и завитками спадавшие на плечи, и голубые удивлённые глаза, и по всему своему виду он принадлежал к мальчикам, которых особенно преследовал Сашка.

– Ты неблагодалный мальчик? – спросил он Сашку. – Мне мисс сказала. А я холосой.

– Уж на что же лучше! – ответил тот, осматривая коротенькие бархатные штанишки и большой откладной воротничок.

– Хочешь лузье? На! – протянул мальчик ружьё с привязанной к нему пробкой.

Волчонок взвёл пружину и, прицелившись в нос ничего не подозревавшего Коли, дёрнул собачку. Пробка ударилась

по носу и отскочила, болтаясь на нитке. Голубые глаза Коли раскрылись ещё шире, и в них показались слезы. Передвинув палец от губ к покрасневшему носику, Коля часто заморгал длинными ресницами и зашептал:

– Злой... Злой мальчик.

В детскую вошла молодая, красивая женщина с гладко зачёсанными волосами, скрывавшими часть ушей. Это была сестра хозяйки, та самая, с которой занимался когда-то Сашкин отец.

– Вот этот, – сказала она, показывая на Сашку сопровождавшему её лысому господину. – Поклонись же, Саша, нехорошо быть таким невежливым.

Но Сашка не поклонился ни ей, ни лысому господину. Красивая дама не подозревала, что он знает многое. Знает, что жалкий отец его любил её, а она вышла за другого, и хотя это случилось после того, как он женился сам, Сашка не мог простить измены.

– Дурная кровь, – вздохнула Софья Дмитриевна. – Вот не можете ли, Платон Михайлович, устроить его? Муж говорит, что ремесленное ему больше подходит, чем гимназия. Саша, хочешь в ремесленное?

– Не хочу, – коротко ответил Сашка, слышавший слово «муж».

– Что же, братец, в пастухи хочешь? – спросил господин.

– Нет, не в пастухи, – обиделся Сашка.

– Так куда же?

Сашка не знал, куда он хочет.

– Мне все равно, – ответил он, подумав, – хоть и в пастухи.

Лысый господин с недоумением рассматривал странного мальчика. Когда с заплатанных сапог он перевёл глаза на лицо Сашки, последний высунул язык и опять спрятал его так быстро, что Софья Дмитриевна ничего не заметила, а пожилой господин пришёл в непонятное ей раздражительное состояние.

– Я хочу и в ремесленное, – скромно сказал Сашка.

Красивая дама обрадовалась и подумала, вздохнув, о той силе, какую имеет над людьми старая любовь.

– Но едва ли вакансия найдётся, – сухо заметил пожилой господин, избегая смотреть на Сашку и поглаживая поднявшиеся на затылке волосики. – Впрочем, мы ещё посмотрим.

Дети волновались и шумели, нетерпеливо ожидая ёлки. Опыт с ружьём, проделанный мальчиком, внушавшим к себе уважение ростом и репутацией испорченного, нашёл себе подражателей, и несколько кругленьких носиков уже покраснело. Девочки смеялись, прижимая обе руки к груди и перегибаясь, когда их рыцари, с презрением к страху и боли, но морщась от ожидания, получали удары пробкой. Но вот открылись двери и чей-то голос сказал:

– Дети, идите! Тише, тише!

Заранее вытаращив глазёнки и затаив дыхание, дети чинно, по паре, входили в ярко освещённую залу и тихо обходили сверкающую ёлку. Она бросала сильный свет, без те-

ней, на их лица с округлившимися глазами и губками. Минуту царила тишина глубокого очарования, сразу сменившаяся хором восторженных восклицаний. Одна из девочек не в силах была овладеть охватившим её восторгом и упорно и молча прыгала на одном месте; маленькая косичка со вплетённой голубой ленточкой хлопала по её плечам. Сашка был угрюм и печален – что-то нехорошее творилось в его маленьком изъязвлённом сердце. Ёлка ослепляла его своей красотой и крикливым, наглым блеском бесчисленных свечей, но она была чуждой ему, враждебной, как и столпившиеся вокруг неё чистенькие, красивые дети, и ему хотелось толкнуть её так, чтобы она повалилась на эти светлые головки. Казалось, что чьи-то железные руки взяли его сердце и выжимают из него последнюю каплю крови. Забившись за рояль, Сашка сел там в углу, бессознательно доламывал в кармане последние папиросы и думал, что у него есть отец, мать, свой дом, а выходит так, как будто ничего этого нет и ему некуда идти. Он пытался представить себе перочинный ножичек, который он недавно выменял и очень сильно любил, но ножичек стал очень плохой, с тоненьким сточенным лезвием и только с половиной жёлтой костяшки. Завтра он сломает ножичек, и тогда у него уже ничего не останется.

Но вдруг узенькие глаза Сашки блеснули изумлением, и лицо мгновенно приняло обычное выражение дерзости и самоуверенности. На обращённой к нему стороне ёлки, которая была освещена слабее других и составляла её изнанку,

он увидел то, чего не хватало в картине его жизни и без чего кругом было так пусто, точно окружающие люди неживые. То был восковой ангелочек, небрежно повешенный в гуще тёмных ветвей и словно реявший по воздуху. Его прозрачные стрекозиные крылышки трепетали от падавшего на них света, и весь он казался живым и готовым улететь. Розовые ручки с изящно сделанными пальцами протягивались кверху, и за ними тянулась головка с такими же волосами, как у Коли. Но было в ней другое, чего лишено было лицо Коли и все другие лица и вещи. Лицо ангелочка не блистало радостью, не туманилось печалью, но лежала, на нем печать иного чувства, не передаваемого словами, неопределяемого мыслью и доступного для понимания лишь такому же чувству. Сашка не сознавал, какая тайная сила влекла его к ангелочку, но чувствовал, что он всегда знал его и всегда любил, любил больше, чем перочинный ножичек, больше, чем отца, чем все остальное. Полный недоумения, тревоги, непонятного восторга, Сашка сложил руки у груди и шептал:

– Милый... милый ангелочек!

И чем внимательнее он смотрел, тем значительнее, важнее становилось выражение ангелочка. Он был бесконечно далёк и непохож на все, что его здесь окружало. Другие игрушки как будто гордились тем, что они висят, нарядные, красивые, на этой сверкающей ёлке, а он был грустен и боялся яркого назойливого света, и нарочно скрылся в тёмной зелени, чтобы никто не видел его. Было бы безумной жесто-

костью прикоснуться к его нежным крылышкам.

– Милый... милый! – шептал Сашка.

Голова Сашкина горела. Он заложил руки за спину и в полной готовности к смертельному бою за ангелочка прохаживался осторожными и крадущимися шагами; он не смотрел на ангелочка, чтобы не привлечь на него внимания других, но чувствовал, что он ещё здесь, не улетел. В дверях показалась хозяйка – важная высокая дама с светлым ореолом седых, высоко зачёсанных волос. Дети окружили её с выражением своего восторга, а маленькая девочка, та, что прыгала, утомлённо повисла у неё на руке и тяжело моргала сонными глазками. Подошёл и Сашка. Горло его перехватывало.

– Тётя, а тётя, – сказал он, стараясь говорить ласково, но вышло ещё более грубо, чем всегда. – Те... Тётечка.

Она не слыхала, и Сашка нетерпеливо дёрнул её за платье.

– Чего тебе? Зачем ты дёргаешь меня за платье? удивилась седая дама. – Это невежливо.

– Те... тётечка. Дай мне одну штуку с ёлки – ангелочка.

– Нельзя, – равнодушно ответила хозяйка. – Ёлку будем на Новый год разбирать. И ты уже не маленький и можешь звать меня по имени, Марией Дмитриевной.

Сашка чувствовал, что он падает в пропасть, и ухватился за последнее средство.

– Я раскаиваюсь. Я буду учиться, – отрывисто говорил он.

Но эта формула, оказывавшая благотворное влияние на учителей, на седую даму не произвела впечатления.

– И хорошо сделаешь, мой друг, – ответила она так же равнодушно.

Сашка грубо сказал:

– Дай ангелочка.

– Да нельзя же! – говорила хозяйка. – Как ты этого не понимаешь?

Но Сашка не понимал, и когда дама повернулась к выходу, Сашка последовал за ней, бессмысленно глядя на её чёрное, шелестящее платье. В его горячечно работавшем мозгу мелькнуло воспоминание, как один гимназист его класса просил учителя поставить тройку, а когда получил отказ, стал перед учителем на колени, сложил руки ладонь к ладони, как на молитве, и заплакал. Тогда учитель рассердился, но тройку все-таки поставил. Своевременно Сашка увековечил эпизод в карикатуре, но теперь иного средства не оставалось. Сашка дёрнул тётку за платье и, когда она обернулась, упал со стуком на колени и сложил руки вышеупомянутым способом. Но заплакать не мог.

– Да ты с ума сошёл! – воскликнула седая дама и оглянулась; по счастью, в кабинете никого не было. – Что с тобой?

Стоя на коленях, со сложенными руками, Сашка с ненавистью посмотрел на неё и грубо потребовал:

– Дай ангелочка!

Глаза Сашкины, впившиеся в седую даму и ловившие на её губах первое слово, которое они произнесут, были очень нехороши, и хозяйка поспешила ответить:

– Ну, дам, дам. Ах, какой ты глупый! Конечно, я дам тебе, что ты просишь, но почему ты не хочешь подождать до Нового года? Да вставай же! И никогда, – поучительно добавила седая дама, – не становись на колени: это унижает человека. На колени можно становиться только перед богом.

«Толкуй там», – думал Сашка, стараясь опередить тётку и наступая ей на платье.

Когда она сняла игрушку, Сашка впился в неё глазами, болезненно сморщил нос и растопырил пальцы. Ему казалось, что высокая дама сломает ангелочка.

– Красивая вещь, – сказала дама, которой стало жаль изящной и, по-видимому, дорогой игрушки. – Кто это повесил её сюда? Ну, послушай, зачем эта игрушка тебе? Ведь ты такой большой, что будешь ты с ним делать?.. Вон там книги есть, с рисунками. А это я обещала Коле отдать, он так просил, – солгала она.

Терзания Сашки становились невыносимыми. Он судорожно стиснул зубы и, показалось, даже скрипнул ими. Седая дама больше всего боялась сцен и потому медленно протянула к Сашке ангелочка.

– Ну, на уж, на, – с неудовольствием сказала она. – Какой настойчивый!

Обе руки Сашки, которыми он взял ангелочка, казались цепкими и напряжёнными, как две стальные пружины, но такими мягкими и осторожными, что ангелочек мог вообразить себя летящим по воздуху.

– А-ах! – вырвался продолжительный, замирающий вздох из груди Сашки, и на глазах его сверкнули две маленькие слезинки и остановились там, непривычные к свету. Медленно приближая ангелочка к своей груди, он не сводил сияющих глаз с хозяйки и улыбался тихой и кроткой улыбкой, замирая в чувстве неземной радости. Казалось, что когда нежные крылышки ангелочка прикоснутся к впалой груди Сашки, то случится что-то такое радостное, такое светлое, какого никогда ещё не происходило на печальной, грешной и страдающей земле.

– А-ах! – пронёсся тот же замирающий стон, когда крылышки ангелочка коснулись Сашки. И перед сиянием его лица словно потухла сама нелепо разукрашенная, нагло горящая ёлка, – и радостно улыбнулась седая, важная дама, и дрогнул сухим лицом лысый господин, и замерли в живом молчании дети, которых коснулось веяние человеческого счастья. И в этот короткий момент все заметили загадочное сходство между неуклюжим, выросшим из своего платья гимназистом и одухотворённым рукой неведомого художника личиком ангелочка.

Но в следующую минуту картина резко изменилась. Съёжившись, как готовящаяся к прыжку пантера, Сашка мрачным взглядом обводил окружающих, ища того, кто осмелится отнять у него ангелочка.

– Я домой пойду, – глухо сказал Сашка, намечая путь в толпе. – К отцу.

III

Мать спала, обессилев от целого дня работы и выпитой водки. В маленькой комнатке, за перегородкой, горела на столе кухонная лампочка, и слабый желтоватый свет её с трудом проникал через закопчённое стекло, бросая странные тени на лицо Сашки и его отца.

– Хорош? – спрашивал шёпотом Сашка.

Он держал ангелочка в отдалении и не позволял отцу дотрагиваться.

– Да, в нем есть что-то особенное, – шептал отец, задумчиво всматриваясь в игрушку.

Его лицо выражало то же сосредоточенное внимание и радость, как и лицо Сашки.

– Ты погляди, – продолжал отец, – он сейчас полетит.

– Видел уже, – торжествующе ответил Сашка. – Думаешь, слепой? А ты на крылышки глянь. Цыц, не трогай!

Отец отдёрнул руку и тёмными глазами изучал подробности ангелочка, пока Саша наставительно шептал:

– Экая, братец, у тебя привычка скверная за все руками хвататься. Ведь сломать можешь!

На стене вырезывались уродливые и неподвижные тени двух склонившихся голов: одной большой и лохматой, другой маленькой и круглой. В большой голове происходила странная, мучительная, но в то же время радостная работа.

Глаза, не мигая, смотрели на ангелочка, и под этим пристальным взглядом он становился больше и светлее, и крылышки его начинали трепетать бесшумным трепетаньем, а все окружающее – бревенчатая, покрытая копотью стена, грязный стол, Сашка, – все это сливалось в одну ровную серую массу, без теней, без света. И чудилось погибшему человеку, что он услышал жалеющий голос из того чудного мира, где он жил когда-то и откуда был навеки изгнан. Там не знают о грязи и унылой брани, о тоскливой, слепо-жестокой борьбе эгоизмов; там не знают о муках человека, поднимаемого со смехом на улице, избиваемого грубыми руками сторожей. Там чисто, радостно и светло, и все это чистое нашло приют в душе её, той, которую он любил больше жизни и потерял, сохранив ненужную жизнь. К запаху воска, шедшему от игрушки, примешивался неуловимый аромат, и чудилось погибшему человеку, как прикасались к ангелочку её дорогие пальцы, которые он хотел бы целовать по одному и так долго, пока смерть не сомкнёт его уста навсегда. Оттого и была так красива эта игрушечка, оттого и было в ней что-то особенное, влекущее к себе, не передаваемое словами. Ангелочек спустился с неба, на котором была её душа, и внёс луч света в сырую, пропитанную чадом комнату и в чёрную душу человека, у которого было отнято все: и любовь, и счастье, и жизнь.

И рядом с глазами отжившего человека – сверкали глаза начинающего жить и ласкали ангелочка. И для них ис-

чезало настоящее и будущее: и вечно печальный и жалкий отец, и грубая, невыносимая мать, и чёрный мрак обид, жестокостей, унижений и злобствующей тоски. Бесформенны, туманны были мечты Сашки, но тем глубже волновали они его смятенную душу. Все добро, сияющее над миром, все глубокое горе и надежду тоскующей о боге души впитал в себя ангелочек, и оттого он горел таким мягким божественным светом, оттого трепетали бесшумным трепетаньем его прозрачные стрекозиные крылышки.

Отец и сын не видели друг друга; по-разному тосковали, плакали и радовались их больные сердца, но было что-то в их чувстве, что сливало воедино сердца и уничтожало бездонную пропасть, которая отделяет человека от человека и делает его таким одиноким, несчастными слабым. Отец несозначательным движением положил руки на шею сына, и голова последнего так же невольно прижалась к чахоточной груди.

– Это она тебе дала? – прошептал отец, не отводя глаз от ангелочка.

В другое время Сашка ответил бы грубым отрицанием, но теперь в душе его сам собой прозвучал ответ, и уста спокойно произнесли заведомую ложь.

– А то кто же? Конечно, она.

Отец молчал; замолк и Сашка. Что-то захрипело в соседней комнате, затрещало, на миг стихло, и часы бойко и торопливо отчеканили: час, два, три.

– Сашка, ты видишь когда-нибудь сны? – задумчиво спро-

сил отец.

– Нет, – сознался Сашка. – А, нет, раз видел: с крыши упал. За голубями лазили, я и сорвался.

– А я постоянно вижу. Чудные бывают сны. Видишь все, что было, любишь и страдаешь, как наяву...

Он снова замолк, и Сашка почувствовал, как задрожала рука, лежавшая на его шее. Все сильнее дрожала и дёргалась она, и чуткое безмолвие ночи внезапно нарушилось всхлипывающим, жалким звуком сдерживаемого плача. Сашка сурово задвигал бровями и осторожно, чтобы не потревожить тяжёлую, дрожащую руку, скovyрнул с глаза слезинку. Так странно было видеть, как плачет большой и старый человек.

– Ах, Саша, Саша! – всхлипывал отец. – Зачем все это?

– Ну, что ещё? – сурово прошептал Сашка. – Совсем, ну совсем как маленький.

– Не буду... не буду, – с жалкой улыбкой извинился отец. – Что уж... зачем?

Заворочалась на своей постели Феоктиста Петровна. Она вздохнула и забормотала громко и странно-настойчиво: «Дерюжку держи... держи, держи, держи». Нужно было ложиться спать, но до этого устроить на ночь ангелочка. На земле оставлять его было невозможно; он был повешен на ниточке, прикреплённой к отдушине печки, и отчётливо рисовался на белом фоне кафелей. Так его могли видеть оба – и Сашка и отец. Поспешно набросав в угол всякого тряпья, на котором он спал, отец так же быстро разделся и лёг на спину, чтобы

поскорее начать смотреть на ангелочка.

– Что же ты не раздеваешься? – спросил отец, зябко кутаясь в прорванное одеяло я поправляя сброшенное на ноги пальто.

– Не к чему. Скоро встану.

Сашка хотел добавить, что ему совсем не хочется спать, но не успел, так как заснул с такой быстротой, что точно шёл ко дну глубокой и быстрой реки. Скоро заснул и отец. Кроткий покой и безмятежность легли на истомлённое лицо человека, который отжил, и смелое личико человека, который ещё только начинал жить.

А ангелочек, повешенный у горячей печки, начал таять. Лампа, оставленная гореть по настоянию Сашки, наполняла комнату запахом керосина и сквозь закопчённое стекло бросала печальный свет на картину медленного разрушения. Ангелочек как будто шевелился. По розовым ножкам его скатывались густые капли и падали на лежанку. К запаху керосина присоединился тяжёлый запах топлёного воска. Вот ангелочек встрепенулся, словно для полёта, и упал с мягким стуком на горячие плиты. Любопытный прусак пробежал, обжигаясь, вокруг бесформенного слитка, взобрался на стрекозиное крылышко и, дёрнув усиками, побежал дальше.

В завешенное окно пробивался синеватый свет начинающегося дня, и на дворе уже застучал железным черпаком зазябший водовоз.

Стена

I

Я и другой прокажённый, мы осторожно подползли к самой стене и посмотрели вверх. Отсюда гребня стены не было видно; она поднималась, прямая и гладкая, и точно разрезала небо на две половины. И наша половина неба была буро-чёрная, а к горизонту темно-синяя, так что нельзя было понять, где кончается чёрная земля и начинается небо. И сдавленная землёй и небом задыхалась чёрная ночь, и глухо и тяжело стонала, и с каждым вздохом выплёвывала из недр своих острый и жгучий песок, от которого мучительно горели наши язвы.

– Попробуем перелезть, – сказал мне прокажённый, и голос его был гнусавый и зловонный, такой же, как у меня.

И он подставил спину, а я стал на неё, но стена была все так же высока. Как и небо, рассекала она землю, лежала на ней, как толстая сытая змея, спадала в пропасть, поднималась на горы, а голову и хвост прятала за горизонтом.

– Ну, тогда ломаем её! – предложил прокажённый.

– Сломаем! – согласился я.

Мы ударились грудями о стену, и она окрасилась кровью наших ран, но осталась глухой и неподвижной. И мы впали

в отчаяние.

– Убейте нас! Убейте нас! – стонали мы и ползли, но все лица с гадливостью отворачивались от нас, и мы видели одни спины, содрогавшиеся от глубокого отвращения.

Так мы доползли до голодного. Он сидел, прислонившись к камню, и, казалось, самому граниту было больно от его острых, колючих лопаток. У него совсем не было мяса, и кости стучали при движении, и сухая кожа шуршала. Нижняя челюсть его отвисла, и из тёмного отверстия рта шёл сухой шершавый голос:

– Я го-ло-ден.

И мы засмеялись и поползли быстрее, пока не наткнулись на четырех, которые танцевали. Они сходились и расходились, обнимали друг друга и кружились, и лица у них были бледные, измученные, без улыбки. Один заплакал, потому что устал от бесконечного танца, и просил перестать, но другой молча обнял его и закружил, и снова стал он сходитьсь и расходиться, и при каждом его шаге капала большая мутная слеза.

– Я хочу танцевать, – прогнусавил мой товарищ, но я увлёл его дальше.

Опять перед нами была стена, а около неё двое сидели на корточках. Один через известные промежутки времени ударял об стену лбом и падал, потеряв сознание, а другой серьёзно смотрел на него, шупал рукой его голову, а потом стену и, когда тот приходил в сознание, говорил:

– Нужно ещё; теперь немного осталось.

И прокажённый засмеялся.

– Это дураки, – сказал он, весело надувая щеки. – Это дураки. Они думают, что там светло. А там тоже темно, и тоже ползают прокажённые и просят: убейте нас.

– А старик? – спросил я.

– Ну, что старик? – возразил прокажённый. – Старик глупый, слепой и ничего не слышит. Кто видел дырочку, которую он проковыривал в стене? Ты видел? Я видел?

И я рассердился и больно ударил товарища по пузырям, вздувавшимся на его черепе, и закричал:

– А зачем ты сам лазил?

Он заплакал, и мы оба заплакали и поползли дальше, прося:

– Убейте нас! Убейте нас!

Но с содроганием отворачивались лица, и никто не хотел убивать нас. Красивых и сильных они убивали, а нас боялись тронуть. Такие подлые! «

II

У нас не было времени, и не было ни вчера, ни сегодня, ни завтра. Ночь никогда не уходила от нас и не отдыхала за горами, чтобы прийти оттуда крепкой, ясно-чёрной и спокойной. Оттого она была всегда такая усталая, задыхающаяся и угрюмая. Злая она была. Случилось так, что невыносимо ей делалось слушать наши вопли и стоны, видеть наши язвы, горе и злобу, и тогда бурной яростью вскипала её чёрная, глухо работающая грудь. Она рычала на нас, как пленённый зверь, разум которого помутился, и гневно мигала огненными страшными глазами, озарявшими чёрные, бездонные пропасти, мрачную, гордо-спокойную стену и жалкую кучку дрожащих людей. Как к другу, прижимались они к стене и просили у неё защиты, а она всегда была наш враг, всегда. И ночь возмущалась нашим малодушием и трусостью и начинала грозно хохотать, покачивая своим серым пятнистым брюхом, и старые лысые горы подхватывали этот сатанинский хохот. Гулко вторила ему мрачно развеселившаяся стена, шаловливо роняла на нас камни, а они дробили наши головы и расплющивали тела. Так веселились они, эти великаны, и перекликались, и ветер насвистывал им дикую мелодию, а мы лежали ниц и с ужасом прислушивались, как в недрах земли ворочается что-то громадное и глухо ворчит, стуча и просясь на свободу. Тогда все мы молили:

– Убей нас!

Но, умирая каждую секунду, мы были бессмертны, как боги.

Проходил порыв безумного гнева и веселья, и ночь плакала слезами раскаяния и тяжело вздыхала, харкая на нас мокрым песком, как больная. Мы с радостью прощали её, смеялись над ней, истощённой и слабой, и становились веселы, как дети. Сладким пением казался нам вопль голодного, и с весёлой завистью смотрели мы на тех четырех, которые сходились, расходились и плавно кружились в бесконечном танце.

И пара за парой начинали кружиться и мы, и я, прокажённый, находил себе временную подругу. И это было так весело, так приятно! Я обнимал её, а она смеялась, и зубки у неё были беленькие, и щёчки розовенькие-розовенькие. Это было так приятно.

И нельзя понять, как это случилось, но радостно оскаленные зубы начинали щёлкать, поцелуи становились уксусом, и с визгом, в котором ещё не исчезла радость, мы начинали грызть друг друга и убивать. И она, беленькие зубки, тоже была меня по моей больной слабой голове и острыми коготками впивалась в мою грудь, добираясь до самого сердца – была меня, прокажённого, бедного, такого бедного. И это было страшнее, чем гнев самой ночи и бездушный хохот стены. И я, прокажённый, плакал и дрожал от страха, и потихоньку, тайно от всех целовал гнусные ноги стены и просил

её меня, только меня одного пропустить в тот мир, где нет безумных, убивающих друг друга. Но, такая подлая, стена не пропускала меня, и тогда я плевал на неё, бил её кулаками и кричал:

– Смотрите на эту убийцу! Она смеётся над вами.

Но голос мой был гнусав и дыхание смрадно, и никто не хотел слушать меня, прокажённого.

III

И опять ползли мы, я и другой прокажённый, и опять кругом стало шумно, и опять безмолвно кружились те четверо, отряхая пыль со своих платьев и зализывая кровавые раны. Но мы устали, нам было больно, и жизнь тяготила нас. Мой спутник сел и, равномерно ударяя по земле опухшей рукой, гнусавил быстрой скороговоркой:

– Убейте нас. Убейте нас.

Резким движением мы вскочили на ноги и бросились в толпу, но она расступилась, и мы увидели одни спины. И мы кланялись спинам и просили:

– Убейте нас.

Но неподвижны и глухи были спины, как вторая стена. Это было так страшно, когда не видишь лица людей, а одни их спины, неподвижные и глухие.

Но вот мой спутник покинул меня. Он увидел лицо, первое лицо, и оно было такое же, как у него, изъязвлённое и ужасное. Но то было лицо женщины. И он стал улыбаться и ходил вокруг неё, выгибая шею и распространяя смрад, а она также улыбалась ему провалившимся ртом и потупляла глаза, лишённые ресниц.

И они женились. И на миг все лица обернулись к ним, и широкий, раскатистый хохот потряс здоровые тела: так они были смешны, любезничая друг с другом. Смеялся и я, про-

кажённый; ведь глупо жениться, когда ты так некрасив и болен.

– Дурак, – сказал я насмешливо. – Что ты будешь с ней делать?

Прокажённый напыщенно улыбнулся и ответил:

– Мы будем торговать камнями, которые падают со стены.

– А дети?

– А детей мы будем убивать.

– Как глупо: родить детей, чтобы убивать. А потом она скоро изменит ему

– у неё такие лукавые глаза.

IV

Они кончили свою работу – тот, что ударялся лбом, и другой, помогавший ему, и, когда я подполз, один висел на крюке, вбитом в стену, и был ещё тёплый, а другой тихонько пел весёлую песенку.

– Ступай, скажи голодному, – приказал я ему, и он послушно пошёл, напевая.

И я видел, как голодный откачнулся от своего камня. Шатаясь, падая, задевая всех колючими локтями, то на четвереньках, то ползком он пробирался к стене, где качался повешенный, и щёлкал зубами и смеялся, радостно, как ребёнок. Только кусочек ноги! Но он опоздал, и другие, сильные, опередили его. Напирая один на другого, царапаясь и кусаясь, они облепили труп повешенного вгрызли его ноги, и аппетитно чавкали и трещали разгрызаемыми костями. И его не пустили. Он сел на корточки, смотрел, как едят другие, и облизывался шершавым языком, и продолжительный вой нёсся из его большого, пустого рта:

– Я го-ло-ден.

Вот было смешно; тот умер за голодного, а голодному даже куска от ноги не досталось. И я смеялся, и другой прокажённый смеялся, и жена его тут же смешливо открывала и закрывала свои лукавые глаза: щурить их она не могла, так как у неё не было ресниц.

А он выл все яростнее и громче:

– Я го-ло-ден.

И хрип исчез из его голоса, и чистым металлическим звуком, пронзительным и ясным, поднимался он вверх, ударялся о стену и, отскочив от неё, летел над тёмными пропастями и седыми вершинами гор.

И скоро завyli все, находившиеся у стены, а их было так много, как саранчи, и жадны и голодны они были, как саранча, и казалось, что в нестерпимых муках взвыла сама сожжённая земля, широко раскрыв свой каменный зев. Словно лес сухих деревьев, склонённых в одну сторону —бушующим ветром, поднимались и протягивались к стене судорожно выпрямленные руки, тощие, жалкие, молящие, и было столько в них отчаяния, что содрогались камни и трусливо убегали седые и синие тучи. Но неподвижна и высока была стена и равнодушно отражала она вой, пластами резавший и пронзавший густой зловонный воздух.

И все глаза обратились к стене, и огнистые лучи струили они из себя. Они верили и ждали, что сейчас падёт она и откроет новый мир, и в ослеплении веры уже видели, как колеблются камни, как с основания до вершины дрожит каменная змея, упитанная кровью и человеческими мозгами. Быть может, то слезы дрожали в наших глазах, а мы думали, что сама стена, и ещё пронзительнее стал наш вой.

Гнев и ликование близкой победы зазвучали в нем.

V

И вот что случилось тогда. Высоко на камень встала худая, старая женщина с провалившимися сухими щеками и длинными нечёсанными волосами, похожими на седую гриву старого голодного волка. Одежда её была разорвана, обнажая жёлтые костлявые плечи и тощие, отвислые груди, давшие жизнь многим и истощённые материнством. Она протянула руки к стене – и все взоры последовали за ними; она заговорила, и в голосе её было столько муки, что стыдливо замер отчаянный вой голодного.

– Отдай мне моё дитя! – сказала женщина.

И все мы молчали и яростно улыбались, и ждали, что ответит стена. Кроваво-серым пятном выступали на стене мозги того, кого эта женщина называла «моё дитя», и мы ждали нетерпеливо, грозно, что ответит подлая убийца. И так тихо было, что мы слышали шорох туч, двигавшихся над нашими головами, и сама чёрная ночь замкнула стоны в своей груди и лишь с лёгким свистом выплёвывала жгучий мелкий песок, разъедавший наши раны. И снова зазвенело суровое и горькое требование:

– Жестокая, отдай мне моё дитя!

Все грознее и яростнее становилась наша улыбка, но подлая стена молчала. И тогда из безмолвной толпы вышел красивый и суровый старик и стал рядом с женщиной.

– Отдай мне моего сына! – сказал он.

Так страшно было и весело! Спина моя ёжилась от холода, и мышцы сокращались от прилива неведомой и грозной силы, а мой спутник толкал меня в бок, ляскал зубами, и смрадное дыхание шипящей, широкой волной выходило из гниющего рта.

И вот вышел из толпы ещё человек и сказал:

– Отдай мне моего брата!

И ещё вышел человек и сказал:

– Отдай мне мою дочь!

И вот стали выходить мужчины и женщины, старые и молодые, и простирали руки, и неумолимо звучало их горькое требование:

– Отдай мне моё дитя!

Тогда и я, прокажённый, ощутил в себе силу и смелость, и вышел вперёд, и крикнул громко и грозно:

– Убийца! Отдай мне самого меня!

А она, – она молчала. Такая лживая и подлая, она притворялась, что не слышит, и злобный смех сотряс мои изъязвлённые щеки, и безумная ярость наполнила наши изболевшиеся сердца. А она все молчала, равнодушно и тупо, и тогда женщина гневно потрясла тощими, жёлтыми руками и бросила неумолимо:

– Так будь же проклята ты, убившая моё дитя!

Красивый, суровый старик повторил:

– Будь проклята!

И звенящим тысячеголосым стоном повторила вся земля:
– Будь проклята! Проклята! Проклята!

VI

И глубоко вздохнула чёрная ночь, и, словно море, подхваченное ураганом и всей своей тяжкой ревущей громадой брошенное на скалы, всколыхнулся весь видимый мир и тысячью напряжённых и яростных грудей ударил о стену. Высоко, до самых тяжело ворочавшихся туч брызнула кровавая пена и окрасила их, и стали они огненные и страшные и красный свет бросили вниз, туда, где гремело, рокотало и выло что-то мелкое, но чудовищно-многочисленное, чёрное и свирепое. С замирающим стоном, полным несказанной боли, отхлынуло оно – и непоколебимо стояла стена и молчала. Но не робко и не стыдливо молчала она,

– сумрачен и грозно-покоен был взгляд её бесформенных очей, и гордо, как царица, спускала она с плеч своих пурпуровую мантию быстро обегающей крови, и концы её терялись среди изуродованных трупов.

Но, умирая каждую секунду, мы были бессмертны, как боги. И снова взревел мощный поток человеческих тел и всей своей силой ударил о стену. И снова отхлынул, и так много, много раз, пока не наступила усталость, и мёртвый сон, и тишина. А я, прокажённый, был у самой стены и видел, что начинает шататься она, гордая царица, и ужас падения судорогой пробегает по её камням.

– Она падает! – закричал я. – Братья, она падает!

– Ты ошибаешься, прокажённый, – ответили мне братья.

И тогда я стал просить их:

– Пусть стоит она, но разве каждый труп не есть ступень к вершине? Нас много, и жизнь наша тягостна. Устелем трупами землю; на трупы набросим новые трупы и так дойдём до вершины. И если останется только один, – он увидит новый мир.

И с весёлой надеждой оглянулся я – и одни спины увидел, равнодушные, жирные, усталые. В бесконечном танце кружились те четверо, сходились и расходились, и чёрная ночь выплёвывала мокрый песок, как больная, и несокрушимой громадой стояла стена.

– Братья! – просил я. – Братья!

Но голос мой был гнусав и дыхание смрадно, и никто не хотел слушать меня, прокажённого.

Горе!.. Горе!.. Горе!..

Предстояла кража

Предстояла крупная кража, а быть может, убийство. Нынче ночью предстояла она – и скоро нужно было идти к товарищу, а не ждать в бездействии дома и не оставаться одному. Когда человек один и бездействует, то все пугает его и злорадно смеётся над ним тёмным и глухим смехом.

Его пугает мышь. Она таинственно скребётся под полом и не хочет молчать, хотя над головой её стучат палкой так сильно, что страшно становится самому. И на секунду она замирает, но когда успокоенный человек ложится, она внезапно появляется под кроватью и пилит доски так громко-громко, что могут услышать на улице и прийти и спросить. Его пугает собака, которая резко звякает на дворе своей цепью и встречает каких-то людей; и потом они, собака и какие-то люди, долго молчат и что-то делают; их шагов не слышно, но они приближаются к двери, и чья-то рука берётся за скобку. Берётся и держит, не отворяя.

Его страшит весь старый и прогнивший дом, как будто вместе с долголетней жизнью среди стонущих, плачущих, от гнева скрежещущих зубами людей к нему пришла способность говорить и делать неопределённые и страшные угрозы. Из мрака его кривых углов что-то упорно смотрит, а когда поднести лампу, он бесшумно прыгает назад и становится высокой чёрной тенью, которая качается и смеётся, та-

кая страшная на круглых брёвнах стены. По низким потолкам его кто-то ходит тяжёлыми стопами; шагов его почти не слышно, но доски гнутся, а в пазы сыплется мелкая пыль. Она не может сыпаться, если нет никого на тёмном чердаке и никто не ходит и не ищет чего-то. А она сыплется, и паутина, чёрная от копоти, дрожит и извивается. К маленьким окнам его жадно присасывается молчаливая и обманчивая тьма, и кто знает? – быть может, оттуда с зловещим спокойствием невидимок глядят тусклые лица и друг другу показывают на него:

– Смотрите! Смотрите! Смотрите на него!

Когда человек один, его пугают даже люди, которых он давно знает. Вот они пришли, и человек был рад им; он весело смеялся и спокойно глядел на углы, в которых кто-то прятался, на потолок, по которому кто-то ходил теперь никого уже нет, и доски не гнутся, и не сыплется больше тонкая пыль. Но люди говорят слишком много и слишком, громко. Они кричат, как будто он глухой, и в крике теряются слова и их смысл; они кричат так обильно и громко, что крик их становится тишиной, и слова их делаются молчанием. И слишком много смотрят они. У них знакомые лица, но глаза их чужие и странные и живут отдельно от лица и его улыбки. Как будто в глазные щели старых, приглядевшихся лиц смотрит кто-то новый, чужой, все понимающий и страшно хитрый.

И человек, которому предстояла крупная кража, а быть

может, убийство, вышел из старого покосившегося дома. Вышел и облегчённо вздохнул.

Но и улица – безмолвная и молчаливая улица окраин, где строгий и чистый снег полей борется с шумным городом и властно вторгается в него немymi и белыми потоками – пугает человека, когда он один. Уже ночь, но тьмы нет, чтобы скрыть человека. Она собирается где-то далеко, впереди и сзади и в тёмных домах с закрытыми ставнями, и прячет всех других людей, – а перед ним она отступает, и все время он идёт в светлом кругу, такой обособленный и всем видимый, как будто поднят он высоко на широкой и белой ладони. И в каждом доме, мимо которого движется его сгорбленная фигура, есть двери, и все они смотрят так сторожко и напряжённо, как будто за каждой из них стоит готовый выскочить человек. А за заборами, за длинными заборами, расстилается невидимое пространство: там сады и огороды, и там никто не может быть в эту холодную зимнюю ночь, – но если бы кто-нибудь притаился с той стороны и в тёмную щель глядел бы на него чужими и хитрыми глазами, он не мог бы догадаться о его присутствии. И от этого он перебрался на середину улицы и шёл по ней, обособленный и всем видимый, а отовсюду провожали его глазами сады, заборы и дома.

Так вышел человек на замёрзшую реку. Дома, полные людей, остались за пределами светлого круга, и только поле и только небо холодными светлыми очами глядели друг на друга. Но было неподвижно поле, а все небо быстро бежало

куда-то, и мутный, побелевший месяц стремительно падал в пустоту бездонного пространства. И ни дыхания, ни шороха, ни тревожной тени на снегу

– хорошо и просторно стало кругом. Человек расправил плечи, широко и злобно взглянул на оставленную улицу и остановился.

– Покурим! – сказал он громко, и хрипло, и спичка слегка осветила широкую чёрную бороду.

И тут же выпала из вздрогнувшей руки, так как на слова его пришёл ответ

– странный и неожиданный ответ среди этого мёртвого простора и ночи. Нельзя было понять: голос это или стон, далеко он или близко, угрожает он или зовёт на помощь. Что-то прозвучало и замерло.

Долго ждал напуганный человек, но звук не повторялся. И, ещё подождав, он ещё спросил:

– Кто тут?

И так неожидан и изумительно прост был ответ, что человек рассмеялся и бессмысленно выругался: то щенок визжал – самый обыкновенный и, должно быть, очень ещё маленький щенок. Это видно было по его голосу – слабенькому, жалобному и полному той странной уверенности, что его должны услышать и пожалеть, какая звучит всегда в плаче очень маленьких и ничего не понимающих детей. Маленький щенок среди снежного простора ночи. Маленький, простой щенок, когда все было так необыкновенно и жутко, и

весь мир тысячью открытых очей следил за человеком. И человек вернулся на тихий зов.

На утоптанном снегу дальней тропинки, беспомощно откинув задние лапки и опираясь на передние, сидел черненький щенок и весь дрожал. Дрожали лапки, на которые он опирался, дрожал маленький чёрный носик, и закруглённый кончик хвоста отбивал по снегу ласково-жалобную дробь. Он давно замерзал, заблудившись в беспредельной пустыне, многих уверенно звал на помощь, но они оглядывались и проходили мимо. А теперь над ним остановился человек.

«А ведь это, кажется, наш щенок!» – подумал человек, приглядываясь.

Он смутно помнил что-то крошечное, чёрное, вертлявое; оно громко стучало лапками, путалось под ногами и тоже визжало. И люди занимались им, делали с ним что-то смешное и ласковое, и кто-то однажды сказал ему:

– Погляди, какой Тютька потешный.

Он не помнит, поглядел он или нет; быть может, никто и не говорил ему этих слов; быть может, и щенка никакого у них в доме не было, а это воспоминание пришло откуда-то издалека, из той неопределённой глубины прошлого, где много солнца, красивых и странных звуков и где все путается.

– Эй! Тютька! – позвал он. – Ты зачем попал сюда, собачий сын?

Щенок не повернул головки и не завизжал: он глядел ку-

да-то в сторону и весь безнадежно и терпеливо дрожал. Самый обыкновенный и дрянной был этот щенок, а человек так постыдно испугался его и сам чуть-чуть не задрожал. А ему ещё предстоит крупная кража и, может быть, убийство.

– Пошёл! – крикнул человек грозно. – Пошёл домой, дрянь!

Щенок как будто не слышал; он глядел в сторону и дрожал все той же настойчивой и мучительной дрожью, на которую холодно было смотреть. И человек серьёзно рассердился.

– Пошёл! Тебе говорят! – закричал он. – Пошёл домой, дрянь, погань, собачий сын, а то я тебе голову размозжу. По-о-шёл!

Щенок глядел в сторону и как будто не слышал этих страшных слов, которых испугался бы всякий, или не придавал им никакого значения. И то, что он так равнодушно и невнимательно принимал сердитые и страшные слова, наполнило человека чувством злобы и злобу его сделало бессильной.

– Ну, и подыхай тут, собака! – сказал он и решительно пошёл вперёд.

И тогда щенок завизжал – жалобно, как погибающий, и уверенно, что его должны услышать, как ребёнок.

– Ага, завизжал! – с злобной радостью сказал человек и так же быстро пошёл назад, и когда подошёл – щенок сидел молча и дрожал.

– Ты пойдёшь или нет? – спросил человек и не получил ответа.

И вторично спросил то же и вторично не получил ответа.

И тогда началась странная и нелепая борьба большого и сильного человека с замирающим животным. Человек прогонял его домой, сердился, кричал, топал огромными ногами, а щенок глядел в сторону, покорно дрожал от холода и страха и не двигался с места. Человек притворно пошёл назад к дому и ласково чмокал губами, чтобы щенок побежал за ним, но тот сидел и дрожал, а когда человек отошёл далеко, стал настойчиво и жалобно визжать. Вернувшись, человек ударил его ногой: щенок перевернулся, испуганно взвизгнул и опять сел, опираясь на лапки, и задрожал. Что-то непонятное, раздражающее и безвыходное вставало перед человеком. Он забыл о товарище, который ждал его, и обо всем том далёком, что будет сегодня ночью, – и всей раздражённой мыслью отдавался глупому щенку. Не мог он помириться с тем, как щенок не понимает слов, не понимает необходимости скорей бежать к дому.

С яростью человек поднял его за кожу на затылке и так отнёс на десять шагов ближе к дому. Там он осторожно положил его на снег и приказал:

– Пошёл! Пошёл домой!

И, не оглядываясь, зашагал к городу. Через сотню шагов он в раздумье остановился и поглядел назад. Ничего не было ни видно, ни слышно – широко и просторно было на замёрзшей речной глади. И осторожно, подкрадываясь, человек вернулся к тому месту, где оставил щенка, – и с отчаяни-

ем выругался длинным и печальным ругательством: на том же месте, где его поставили, ни на пядь ближе или дальше, сидел щенок и покорно дрожал. Человек наклонился к нему ближе и увидел маленькие круглые глазки, подёрнутые слезами, и мокрый жалкий носик. И все это покорно и безнадёжно дрожало..

– Да пойдёшь ты? Убью на месте! – закричал он и замахнулся кулаком.

Собрав в глаза всю силу своей злобы и раздражения, свирепо округлив их, он секунду пристально глядел на щенка и рычал, чтобы напугать. И щенок глядел в сторону своими заплаканными глазками и дрожал.

– Ну, что мне с тобой делать? Что? – с горечью спросил человек.

И, сидя на корточках, он бранил его и жаловался, что не знает, как быть; говорил о товарище, о деле, которое предстоит им ночью, и грозил щенку скорой и страшной смертью.

И щенок глядел в сторону и молча дрожал.

– А, дурак, пробковая голова! – с отчаянием крикнул человек; как что-то противное, убийственно ненавидимое, подхватил маленькое тельце, дал ему два сильных шлёпка и понёс к дому.

И диким хохотом разразились, встречая его, дома, заборы и сады. Глухо и темно гоготали застывшие сады, и огороды, сметливо и коварно хихикали освещённые окна и всем холодом своих промёрзших брёвен, всем таинственным и гроз-

ным нутром своим сурово смеялись молчаливые и тёмные дома:

– Смотрите! Смотрите! Вот идёт человек, которому предстоит убийство, и несёт щенка. Смотрите! Смотрите на него!

И совестно и страшно стало человеку. Дымным облаком окутывали его злоба и страх, и что-то новое, странное, чего никогда ещё не испытывал он в своей отверженной и мучительной жизни вора: какое-то удивительное бессилие, какая-то внутренняя слабость, когда крепки мышцы и злобой сводится сильная рука, а сердце мягко и бессильно. Он ненавидел щенка – и осторожно нёс его злобными руками, так бережно и осторожно, как будто была это великая драгоценность, дарованная ему прихотливой судьбой. И сурово оправдывался он:

– Что же я с ним поделаю, если он не идёт. Ведь нельзя же, на самом деле!

А безмолвный хохот все рос и сонмом озлобленных лиц окружал человека, которому нынче предстояло убийство и который нёс паршивого черненького щенка. Теперь не одни дома и сады смеялись над ним, смеялись и все люди, каких он знал в жизни, смеялись все кражи и насилия, какие он совершал, все тюрьмы, побои и издевательства, какие претерпело его старое, жилистое тело.

– Смотрите! Смотрите! Ему красть, а он несёт щенка! Ему нынче красть, а он опоздает с паршивым маленьким щенком. Ха-ха-ха! Ха-ха-ха! Старый дурак! Смотрите! Смотрите на

него!

И все быстрее он шёл. Подавшись вперёд всем туловищем, наклонив голову, как бык, готовый бодаться, он точно пробивался сквозь невидимые ряды невидимых врагов и, как знамя, нёс перед собой таинственные и могущественные слова:

– Да ведь нельзя же, на самом деле! Нельзя!

И все тише, все глуше становился потаённый смех невидимых врагов, и реже стали их тесные ряды. Быть может, оттого случилось это, что пушистым снегом рассыпались тучи и белым колеблющимся мостом соединили небо с землёй. И медленнее пошёл успокоенный человек, а в злобных руках его оживал полузамёрзший черненький щенок. Куда-то далеко, в самую глубину маленького тела загнал мороз нежную теплоту жизни – и теперь она выходила оттуда пробуждающаяся, яркая, странно-прекрасная в своей непостижимой тайне – такая же прекрасная, как зарождение света и огня среди глубокой тьмы и ненастья.